

ГОСТИНАЯ-2026

ЗИМНИЕ ПЕРЕКЛИЧКИ

Вып.1-2026

Колонка редактора

Вера ЗУБАРЕВА. Что год грядущий нам готовит, или Возможно ли противиться судьбе?

ЛАУРЕАТЫ ГОСТИНОЙ

ЮБИЛЯРЫ ГОСТИНОЙ

Владислав КИТИК. Стихи вне возраста. *К 80-летию Владимира Алейникова*

ЗАМЕТКИ ЛИТЕРАТОРА. *Бегущая строка. Авторская рубрика Марины Кудимовой*

Марина КУДИМОВА. Велимировы травы и вера. *140 лет со дня рождения Хлебникова*

ЭХО. *Авторская рубрика Александра Мелихова*

Александр МЕЛИХОВ. Романтик выбирает трудное

Александр МЕЛИХОВ. Город голодных и сытость сытых. *Размышления о романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева»*

ПОЭЗИЯ

Владимир АЛЕЙНИКОВ. «Откуда бы музыке взяться опять?»

Нина БАЛАНДИНА. Мы были живы

Андрей БЛИНОВ. Современная сказка

Никита ГОФМАН. Память сиротеющей воды

Лидия ГРИГОРЬЕВА. «И тайное открылось знанье...»

Елена КОЛЕСНИКОВА. «Горит не нагорится втайне сад...»

Елена ЛИТИНСКАЯ. Времена года. *Ироническая поэзия*

Юлия МЕЛЬНИК. Та глубина...

Лера СТУПЕНКОВА. «Если в жизни что-нибудь непросто...»

Константин ШАКАРЯН. С красной строки

ПРОЗА

Андрей КОЗЫРЕВ. Камень, ножницы, бумага. *Главы из романа*

Борис КУНИН. Вкус воздуха. *Рассказ*

Татьяна ОКОМЕНЮК. Космическая любовь, или Видеодневник жены астронавта. *Рассказ*

Ирина РОМАНЕЦ. Дневниковые миниатюры

Раиса ШИЛЛИМАТ. Семь футов под килем. *Рассказ*

ЭССЕ

Ефим БЕРШИН. Человек у новогодней ёлки. *Ко дню рождения Юрия Левитанского*

ВОСПОМИНАНИЯ

Нина ГАБРИЭЛЯН. Есть смысл в поэте только лишь босом...

Воспоминания о Евгении Винокуре

РЕЦЕНЗИЯ

Елена СЕВРЮГИНА. Черепаха на поводке. *О книге Нины Баландиной*

«Парашютик жизни» (М.: «У Никитских ворот», 2025)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, КРИТИКА

Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН. Человек вопрошающий. *Предисловие к книге Елены Севрюгиной «Внутри литпроцесса».* (М.; СПб.: "Издательские Технологии"; «Пальмира», 2025. – 718 с. – Серия «Пальмира – эссе»)

Вера КАЛМЫКОВА. Моей полки прибыло, или О неслыханной простоте, цветущей сложности и потерянном я...

Между критикой и литературоведением. *Авторская рубрика Риммы Нужденко*

Римма НУЖДЕНКО. «Что я должна сказать, сыночек?» Опыт прочтения прозы. *О рассказах Марата Баскина «Дом с крыльцом» и «Немка» из книги «Рыжий чау-чау»* (Lulu.com, 2024)

ОДЕССКАЯ СТРАНИЦА

Одесса: история и люди

Владислав КИТИК. К себе прислушаюсь: жива. Жизнь и творчество

Ирины Василенко (23 декабря 1957 г. - 6 янв 2021 г.)

Владислав КИТИК. Не выпитая чашка чая. Памяти Галины Маркеловой (18 февр. 1943 – 23 нояб. 2025 г.)

Гости ОС

Рада ПОЛИЩУК. Давид-псалмопевец, бывший стиляга. *Рассказ*

Лиза АЗВАЛИНСКАЯ. Жёлтые тюльпаны. *Рассказ*

Поэзия и проза

Александр БИРШТЕЙН. Ржавый топор. *Миниатюра*

Евгений ГОЛУБЕНКО. Семиструнно разящий меч. *Стихи*

Константин ИЛЬНИЦКИЙ. Место приложения любви. *Стихи*

Светлана КУДРЯВЦЕВА. Разбудишь к ночи взгляд... *Стихи*

Анна МИХАЛЕВСКАЯ. Прелюдия до... *Миниатюра*

Татьяна ПАРТИНА. Подходящий момент. *Миниатюра*

Алена ЯВОРСКАЯ. Случай в трамвае. *Миниатюра*

Из прошлого Одессы

Галина СЕМЫКИНА. «Зима суровая, какой не припомнят и старожилы
здесь...». *Эссе*

Вера ЗУБАРЕВА. Что год грядущий нам готовит, или Возможно ли противиться судьбе?

Каждый хочет знать, что год грядущий ему готовит, а некоторые даже пытаются разгадать Замысел по особым приметам или обращаясь к предсказателям. Дело осложняется тем, что для точного прогноза нужна вся совокупность условий, а это не всегда возможно. Даже в Библии предсказания не детальны. И дело не в том, что Богу не дано полное знание всех условий, а в том, что Он наделил человека свободой воли, оставив выбор решений за ним. Взять хотя бы историю Исаака и Ревекки.

Когда Ревекка зачала,

Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа.

Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. (Бытие 25: 22-23)

Казалось бы, предсказание получено, верь и жди. Зачем же Ревекке понадобилось вмешиваться, да ещё и таким неприглядным образом? К чему было настоятельно подталкивать Иакова на обман во имя первородства? Тем более, что первородство вообще не входило в предсказание. Очевидно, что-то беспокоило её в самом предсказании. Что же это могло быть?

Ответ однозначен – неопределенность. Во-первых, не сказано, кто именно сделается сильнее – «большой» или «меньший» (замечу, что русский перевод в полном соответствии с оригиналом), и как это произойдет. Эти и другие неясности формируют зону неопределенности. По-видимому, и Ревекка задавалась теми же вопросами, которые стали актуальными для неё по мере взросления сыновей, когда постепенно сформировались родительские привязанности. Любимцем Ревекки стал Иаков, живущий «в шатрах» (а в соответствии с комментариями, занимавший изучением писаний), а любимцем Исаака был Исаак, «человек полей» и охотник. Исааку было близко всё материальное, плотское, он и первородство продал за чечевичную похлебку. Естественно, Ревекка, которая в часы сомнений обращалась к Богу, была ближе к Иакову, человеку кроткому и, судя по всему, духовному. Однако первым дорогу на свет пробил себе при рождении более сильный физически Исаак.

Возможно, теперь настал черед Ревекки помочь любимцу? Это всего лишь попытки понять, что могло происходить внутри Ревекки, решившейся, наконец, взять дело в свои руки.

Отсутствие детального предсказания аналогично состоянию квантовой неопределенности, когда обозреватель поставлен перед вопросом, что он наблюдает – частицу или волну. Коллапс волновой функции происходит в результате измерения системы, когда из суперпозиции она переходит в состояние определённости.

В человеческом мире это соответствует процессу анализа неясной ситуации с последующим принятием решений на основе сделанных выводов. Как только Ревекка расставила для себя все точки над *i*, она начала действовать. В физических терминах речь о том, что произошёл коллапс волновой функции. Судя по действиям Ревекки, она решила, что «сильнее» тот, у кого первородство, а «меньший» – это младший. Её решение – любым способом сделать так, чтобы первородство досталось младшему, её любимцу. Она взяла грех на себя (Мать его сказала ему: на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне. Быт. 27:13). Однако построенное на обмане решение в дальнейшем сказалось и на судьбе Иакова, который позднее сам становится жертвой обмана, получив поначалу в жёны не возлюбленную, а её сестру, и затем отрабатывая семь дополнительных лет за Лию.

Мало того, что средства были негодными, но и сама по себе цель – первородство – не имела смысла. И действительно, дало ли оно силу Иакову? Вряд ли. История Иакова повествует о другом источнике силы – божественного происхождения. Как мы помним, силу Иаков обрёл в результате борьбы с божественной ипостасью, из которой он вышел победителем. Знаменательно, что полученное обманом первородство только усилило страх Иакова перед Исавом, тогда как сила, обретённая в процессе борьбы, пробудила в нём внутреннее раскаяние. И если поначалу Иаков пытался из *страха* задобрить брата, идущего навстречу к нему с войском численностью 400 человек (*Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми*. Быт. 32:11), то после борьбы он предлагает брату дары из раскаяния. Раскаяние сильного перед слабым – поворотный момент встречи братьев и фазовый переход в характере Иакова.

Иаков сказал: нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне; прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. И упросил его, и тот взял (Быт. 33:10-11).

Тот же принцип неопределённости, характерный в целом для Ветхого завета, перекочевал и в сюжеты большой литературы, связанные с предсказанием. Вспомним хотя бы Эдипа, которому было предсказано, что он убьёт своего отца и женится на своей матери. Чтобы избежать такой чудовищной участи, Эдип сбегает из дома, не подозревая, что родители – приёмные, и по дороге в гневе убивает оказавшегося с ним на одной тропе старца в колеснице, потребовавшего, чтобы Эдип уступил ему дорогу. Со временем он берёт в жёны вдову убитого, лишь позже узнав, что это были его родители.

Обычно обращают внимание только на предсказание, упуская характер самого Эдипа. Но этот герой известен вспыльчивостью, нетерпимостью, даже жестокостью. Случайно ли Софокл наградил его подобными чертами? Если бы он сделал своего героя крайне внимательным, уравновешенным и рационально мыслящим или способным измениться, и показал, что, получив предсказание, Эдип дал обет не убивать вообще никого и ни при каких обстоятельствах, а после все равно убил бы своего отца, тогда имело бы смысл говорить о неизбежности. В пьесе же, услышав предсказание, Эдип идет по пути наименьшего сопротивления, решая изменить место проживания, «увернуться» от судьбы, а не изменить себя внутренне. Мысль о внутреннем совершенствовании приходит к нему только после трагической развязки. Однако зная свою натуру, свой темперамент и силу, он даже и в трагическую минуту не уверен, послужит ли ему произошедшее уроком на будущее. Тогда он идет на крайнюю меру и – в качестве вечного напоминания – выкалывает себе глаза, надеясь, что слепота внешняя станет прозрением внутренним. В истории с Яковом наоборот – процесс борьбы с высшей силой изначально направлен на внутреннее преобразование, связанное мобилизацией всех внутренних сил, в том числе и духовных.

Так могли бы внутренние перемены изменить предсказание судьбы Эдипа? Возможно, если учесть, что боги могли менять судьбу в зависимости от поведения человека. Если же в целом предсказание было неизменным, то другое, уважительное, отношение к окружающим, в особенности к пожилым людям, могло бы изменить *причину* убийства. Например, Эдип мог бы, став свидетелем нападения на Лая, броситься на его защиту и нечаянно убить его. И это уже не было бы убийством, а несчастным случаем.

Смысл в том, что даже если в общих чертах предсказание может сбыться, отношение к окружающему зависит от человека. Каким способом достигнута цель не менее важно, чем факт её достижения. Выбор пути влияет на будущее, поскольку любое предсказание конкретно лишь до определённых пределов, и в этом смысле оно, как чеховский рассказ, с открытой концовкой. Этому учит большая литература и библейская мудрость.

С Новым годом!

ЛАУРЕАТЫ ГОСТИНОЙ – 2025

Поэзия

Алёна БАБАНСКАЯ. Белая магия света. Зимние зарисовки

Проза

Моисей БОРОДА. Один короткий день длиной в жизнь. *Повесть*

Литературоведение

Константин ШАКАРЯН. «Орудие дальнего действия». *Поэтика Ильи Сельвинского и поэты-шестидесятники*

Пушкинская страница

Виктор ЕСИПОВ. «Лалла-рук» и смертельная дуэль Пушкина

ЮБИЛЯРЫ ГОСТИНОЙ

Владислав КИТИК. Стихи вне возраста. *К 80-летию Владимира Алейникова*

Творческий путь Владимира Алейникова – более чем полувековое свидетельство его самобытности как поэта. Его трудно угадать по одной строке. Сколько бы ни встречалось его публикаций, рассыпанных по самиздату и «толстым» журналам, у него не встретить повторяющихся или излюбленных образов, вердиктов или однозначных формулировок своего кредо. Но каждое стихотворение, живя самостоятельно, как буква в алфавите, органично его пониманию мира через стихи.

Глубокий тон, высокий лад, –
Неподражаемо звучанье
Как бы защитного молчанья,
В котором чувства говорят.

.....
В нём нашей крови крепнет связь
С неузнаваемо-знакомым
Каким-то берегом искомым,
Где речь, быть может, родилась.

(«Глубокий тон,
высокий лад»)

Но если всё же вернуться к вопросу опознавательных знаков в творческой жизни Владимира Алейникова, его имя прочно сплетено с понятием СМОГ. Расшифровывая аббревиатуру этого творческого объединения поэтов, пусть недолговечного, но давшего импульс целому литературному направлению, чаще всего перечисляют категории: «Смелость. Мысль. Образ. Глубина». Или – более претенциозный расклад, но простительный как задиристая заявка о себе творческой юности: «Самое Молодое Общество Гениев». Прочтение СМОГ в качестве глагола совершенного вида передаёт действие и энергию.

Сегодня, когда в окружении Алейникова «иных уж нет», когда поэту 80 и есть, на что оглядываться и что итожить, СМОГ, заручившись запалом бравады 60-х годов, в глазах читателей превратился в генеалогический вензель его поэтики.

Отрадно, что в сонм причин и векторов, формировавших мировоззрение поэта, проникает и тёплый лучик из Одессы. Возможно, характер этого необычного города привнёс частицу и своего света в регламент стиха Алейникова. В присущую ему непредсказуемость связки.

Такие поэтические отличия уже хорошо прослеживаются в раннем цикле, который Владимир Дмитриевич назвал «Одесские стихи». В них фронда, уже куролесившая в крови тогда ещё совсем молодого литератора, смягчается ласковым солнцем Черноморского юга. И заметно предпочтение лиричности, в которой (или посредством которой) и раскрывается сущность человека:

И в чертах волшебства наитий
Столько рвётся судеб и нитей,
Что становятся всё открытей
Каждый вечер и каждый год.

(«После полнолуния»)

В этом небольшом цикле из четырех стихотворений ранний Алейников уже предстаёт как поэт, чьи мысли сразу сталиозвучными многим ценителям художественного слова.

При том, что он был рождён в скучности послевоенного времени, что его первые пробы пера совпали с периодом резких идеологических ограничений, имея все шансы уподобить свой голос мировоззренческим стереотипам и административным указкам, он не стал последователем соцреализма, а пошёл своим путём, что и определило дальнейшее направление его творчества.

Так в стихотворении «После полнолуния» предчувствия разлуки не подавляют героев, а, напротив, способствуют тому, что они открываются миру. В этом ощущается аналогия с христианской идеей прихода к Богу через страдания:

Отрешённо летит машина

Перекущена пуповина,
Переполнена сердцевина
Золотящимся роем ос –

Истомило давно участье,
Значит, плод не вкусить на счастье,
Пусть скорее придет ненастье –
Эта власть не спасёт от слёз.

Поэзию Алейникова уже на ранней стадии творчества отличает зрелость стиха, лирический прилив, ясность поэтического мышления. Эти врождённые качества он развивает, совершенствуя и оттачивая данное ему природой:

Туда, где боль, туда, где глубоко,
Туда, где жизнь – Любви первопричина.

Взгляни в окно, в июньский гул ночной,
С Надеждой, Верою, и мужеством, и грустью, –
Туда, где волны музыки земной
Рекою памяти уже подходят к устью.

(«Элегия»)

Сила дара Владимира Алейникова – и в обладании такой целостностью мировосприятия, когда остается только извлечь нужный образ из памяти:

Сюда, где вся Одесса на виду
Иль на людях – пока ещё не знаю –
Негаданнее, стало быть, приду –
А ныне говорю, припоминая.

(«Где вся Одесса»)

Произведения в указанном цикле расположены по нарастанию плотности стиха. Пристрастный поклонник одесской литературы может найти отдалённое созвучие с её лучшими образцами. Это могут быть штрихи, вроде упоминания о районе Фонтана или изогнутости залива:

Так мягко надвигаются дожди,
Что поступью красавицы осенней
Биение, возникшее в груди,
Мелодии верней и совершенней.

Столь многое зародилось не вчера
Попыток отрешенья и порыва,
Что моря безмятежная игра
Очерчена изгибами залива.

(«Где вся Одесса»)

Но это – частности. Общее содержание данных стихов выходит за границы сугубо «одесской» темы. В. Алейников рождает новую словесную, ритмическую и, главное, интонационную структуру. Её принципиальные отличия, прописывающие буквально в каждом стихотворении, – письмо крупными форматами, концептуальность мышления, картины, написанные мощными мазками. Если сравнить его, как в игре в ассоциации, с музыкальным инструментом, это – орган. Если с архитектурой – монументализм.

Он не учит, не назидает. Не является выразителем психологического настроения народа. Его стихи – как интеллектуальное явление существуют и действуют на читателей независимо от того, принимают их или нет,озвучны они кому-то или неозвучны. Возникающая при этом философичность, поднимающая явления и предметы до категориального уровня, органична сознанию поэта. По его признанию, «сердца от неё не излечить»:

И вспомним, если помолчим,
И укротим не потому ли
Перенасыщенность причин...
(«Сады Одессы»)

Загадка, данная себе и читателю, увеличивает нарастание смысловой плотности:

Не потому ль туда ты вхож,

Откуда выхода не знаешь?

(«Сады Одессы»)

Тексты стихов настолько разнообразны и насыщены, что затруднительно определить тему, вычленить художественные образы в отрыве от идеи стихотворения:

Здесь и город, и степь невредимы,

И не в них ли значенье картин,
Что с природой давно воедино?

Где меж южных ветров рождены
Для служения правде, к тому же,
Ястребиное око жены
И печаль несравнимая мужа.

(«Обещание встречи»)

В дальнейших «взрослых» стихах это нарастание приобретает мощный размах. И всё более интересно становится наблюдать, как Владимир Алейников управляет и управляемся со словом, сочетая отстранённость и конкретику, объективность и миролюбие, напор, что сродни прибывающему накату прибоя, но – без агрессии:

Бреда всеобщего я сторонюсь,
Пытанный ядом и горем, –
Лучше очнусь и смелей породнюсь
С чудом, а попросту – с морем.

Не для того я сумел уцелеть
В бедах и кровных обидах,
Чтобы душой за живых не болеть, –
Где он, спасительный выдох?

(«Ветер предгрозья срывает листву»)

Эрудиция и ментальное восприятие жизни разбавлены лирикой, поэтому не превращаются в умственные конструкции. Но не отменяют

прежней заявки на гениальность. Вот отрывок одной из публикаций, как уже говорилось, вневозрастной, хотя написанной в 20 лет:

повальная так глубока
до обморока неурядица!
военная сеть паука
уляжется или уладится
игольчатых стрел начеку
купается новое плаванье
корвет боевой наверху
колёса и волосы гавани
вороны сигнальная тьма
задира молчун перечитывай
копеечной розни тюрьма
гостинцев и сладости липовой
даримая до кругаля
ранимая до одарения
торопится вплавь шевеля
таинственной россыпью гения.

Поэту – 80 земных календарных лет!.. Оглядку на прожитое ему заменяет взгляд в будущее, ясность и пристальность которого обеспечены неиссякаемой творческой активностью и неутомимостью пера. У стихов же – нет возраста.

Современники поэта известные литераторы Андрей Битов, Евгений Рейн считали его классиком при жизни. Не каждому дано. Вряд ли, погружённый в медитативность творческого процесса, онставил перед собой такую задачу, но – смог. Или даже – с большой буквы: СМОГ!

ЗАМЕТКИ ЛИТЕРАТОРА. Бегущая строка.

Авторская рубрика Марины Кудимовой

Марина КУДИМОВА. Велимировы травы и вера. *140 лет со дня рождения Хлебникова*

Он называл себя «зачеловек». Что означает здесь приставка «за»? Она означает ни много ни мало выход за пределы человеческого естества и существа. Выход – куда? В открытый космос? В каком-то смысле – да. Близость Хлебникова к учению В. Вернадского о ноосфере отмечалась многими исследователями. Р. Дуганов, в частности, указывает: «В системе Хлебникова три степени «просветленности» порождают соответственно три мира - земной, солнечный и звездный...». На эту тему написаны тома, а о Хлебникове как ученом и поэте – целые библиотеки. Приближают ли они к разгадке тайны Велимира? Ни на йоту! Но самоаттестацию Хлебникова по части зачеловеческого подтверждается хотя бы двумя географическими точками его рождения. То ли село Тундутово, то ли Малые Дербеты Астраханской губернии. Но ведь и могил у него тоже две – на погосте Ручьи и на престижном Новодевичьем, куда его определили за «верность традициям революции». Однако революция перманентно совершилась в его голове и его духовном составе. На социальное, вообще земное он обращал исчезающее мало внимания. Точнее всех о нем сказал Мандельштам, тоже большой чудак: «Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии».

Гения проще всего объявить городским сумасшедшим. Гений асоциален, он «плохо себя ведет», в нем «все не кстати, не так, как у людей» (Ахматова). Гений невыносим, возиться с ним быстро надоедает социально озабоченным современникам. Талант куда более организован и приспособляем. Посмотрите, как быстро иочно обуржуазились хотя бы Маяковский (ближайший соратник Хлебникова) или Есенин с их «свежевымытыми сорочками» и лайковыми перчатками (правда, оба были практически бездомны). Между прочим, Ахматова осталась верна своим стихам: чуралась всякой собственности и передаривала подарки. А Хлебников мог и вовсе ходить в мешке с прорезанными для рук отверстиями, спать на вокзалах и не есть по три дня. Ахматова бы точно подписалась под главным тезисом манифеста будетлянина о

надзаконности художника: «Поэты должны бродить и петь». Сам он так бродил и пел, пока не упал.

Лучше всего он чувствовал себя в Персии, где уважали дервишей. Правда, там подцепил малярию, от последствий которой умер. А может, от последствий двух сыпняков, подхваченных на Родине. А может, оттого что к началу 20-х про Хлебникова все забыли. Наигрались. Ведь даже пресловутое посвящение в Председатели земшара было игрой, пародией. Затеявшие эту шутовскую церемонию в Харькове Есенин и Мариенгоф искренне потешались над Велимиром. А он думал, что все серьезно, и пригласил присоединиться к посвящению еще 316 персонажей, которых считал родными. Странно, что ни Уэллс, ни Тагор, никто другой ему не ответили, правда? Но ведь именно неприкаянный Хлебников остался Председателем во мнении потомков! Именно он, не понявший юмора тех, кого считал друзьями, написал знаменитое «Заклятие смехом». И одна из последних его сентенций: «Я умер - и засмеялся». Только он и мог так написать! Жители деревни Санталово, где Велимир мучительно уходил, возможно, поняли его глубже многих литературоведов.

Его стихи почти всегда чреваты научным контекстом. Вознесенский не зря называл Хлебникова «генетик языка». Взять хоть словцо «зинзивер», которое стало визитной карточкой не имевшего никаких визиток поэта. Название отсылает нас к орнитологии, которой Велимир увлекался по стопам отца – серьезного орнитолога, – и к одному из самых известных стихотворений Хлебникова «Кузнецик»:

Крыльшкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнецик в кузов пуга уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» – тарахнул зинзивер...

Очень любопытный анализ стихотворения находим в работе Э. Ахадова «Зинзивер – тайна Велимира Хлебникова»: «Богатым голосовым репертуаром обладает Большая синица (лат. *Parus major*). Специалисты выделяют до 40 вариаций издаваемых ею звуков. При этом одна и та же особь одновременно способна чередовать три-пять вариантов, различных по ритму, тембру, относительной высоте звуков и количеству слогов». Кузнецикам в поэтическом мире Хлебникова А. Россомахин посвятил

целую монографию. Синиц в России не зря называли «зинька». Большая синица по признаку звукоподражания и есть зинзивер. Напрасно думать, что Хлебников выстраивает пищевую цепочку, где Большая синица должна съесть кузнечика. Тайна в том, что кузнечик – одно из имен той же синицы. Таким образом зинзивер превращается в кузнечика, даже если не знать, что в птичьеи иерархии это синонимы.

«Эксперимент», «авангард» давно стали синонимами хлебниковского хаоса, в котором ему чудилась высшая гармония сфер. А может, не чудилась, если он слышал ее зов бессонными ночами. Просто большинству из нас эта мелодия недоступна.

ЭХО. Авторская рубрика Александра Мелихова

РОМАНТИК ВЫБИРАЕТ ТРУДНОЕ

В десятом классе я просто фанател от ремарковских «Трех товарищей» – без малого в осьмнадцать лет страшно хочется ощущать себя трагической и разочарованной личностью: ведь так приятно слушать выигу, сидя в тепле. Никакой идеологии, одна только верность простейшим земным ценностям, которые не обманут, – друг, любимая, кружка рома. А на политические митинги романтический одиночка взирает как на заведомый обман и самообман, подчеркнуто не различая красного и коричневого.

«Со сцены лились потоки слов, и, странно, при всем разнообразии лиц на них было одинаковое отсутствующее выражение, сонливые взгляды, устремленные в туманную даль, где маячила фата-моргана; в этих взглядах была пустота и вместе с тем ожидание какого-то великого свершения. В этом ожидании растворялось все: критика, сомнения, противоречия, наболевшие вопросы, будни, современность, реальность». А в нескольких кварталах другое политическое собрание: «Другие знамена, другая форма, другой зал, но в остальном все было одинаково. На лицах то же выражение неопределенной надежды, веры и пустоты».

У нас в Союзе на рубеже шестидесятых тоже наклевывался разочарованный герой, не желающий тянуть будничную лямку, – лидировал безусловно, Василий Аксенов, – и кое в чем его героям тоже хотелось подражать. Что кое-кто из нас и проделывал: бросить, скажем, университет и рвануть с рыбаками в море. Но там беспечный бродяга обязательно должен был раскрыть, что под маской иронии он наш, советский парень: в кубрике герой «Звездного билета» вдруг начинает упрекать морских волков за распиваемую поллитру: ребята, вы мне очень нравитесь, но разве с такими привычками вы годитесь для коммунизма? И рыбачки, устыдившись, выбрасывают бутылку за борт.

Бунтарь у нас непременно становился на путь исправления – и какая же после этого может быть разочарованность!

Но вот в джазовой Америке по волшебному Бродвею бродили какие-то уже без дураков разочарованные *битники*, воспетые самим Евтушенко: «От раздумий деревья поникли, / И слоняется во хмелю Месяц,

сумрачный, словно битник, светящийся направленной к нему любовью и благодарностью, / Вдоль по млечному авеню». Откуда-то даже было известно,

что у битников есть свой король – писатель Джек Керуак. Вот бы почитать! Упиться трагизмом и разочарованностью из чистого первоисточника.

Да где ж его было взять! Это джинсы можно было достать у фарцовщиков, хотя бы самопальные, но кто же станет изготавливать самопального Керуака!

А потом началась настоящая жизнь. И разочарований, равно как и трагедий в ней оказалось столько, что странно было и вспомнить, что когда-то хотелось набираться трагизма из книг. Но все-таки когда в конце восьмидесятых на уличном лотке в Крыму, который был еще наш общий, вспыхнуло полузабытое имя *Джек Керуак*, я сразу ухватился за эту мягкую книжонку, и – она оказалась на украинском языке. Вот еще когда Украина сделала европейский выбор!

Но, в общем-то, прочесть Керуака к тому времени не очень-то и хотелось: попадется – прочту, а где-то его выщапывать... Не старый режим. Так что и московское издание 2002 года, объединившее «Сатори в Париже» и «Бродяги Дхармы» я прочел с большим опозданием.

Начало было интригующим: «Случилось так, что в какой-то из десяти проведенных мною в Париже (и Бретани) дней я испытал особого рода озарение, которое, казалось, вновь изменило меня, задав направление всей моей жизни на ближайших лет семь, а может и больше: по сути, это было *сатори*: японское слово, означающее «внезапное озарение», или «внезапное пробуждение», или попросту «удар в глаз»».

Но дальше все пошло без всяких озарений: «В аэропорту в автобусе какой-то американец, похоже, из живущих во Франции, с невозмутимым наслаждением попыхивал трубкой и разговаривал со своим приятелем, только что прилетевшим другим самолетом, из Мадрида что ли. В моем же самолете мне так и не довелось поговорить с уставшей американской девушкой-художницей, потому что уже над Новой Скотией она забылась сиротливым и бесчувственным сном от нью-йоркской усталости, и, может, потому что ей часто приходилось проставлять выпивку оставшимся смотреть за ее ребенком – в любом случае, не мое это дело. В Айдлвилде она поинтересовалась, не хочу ли я в Париже отыскать какую-нибудь старинную подружку».

Так и потянулось – ни интересных событий, ни интересных образов, однообразный небрежный говорок... И сатори тоже не впечатлило, тем более что я так и не понял, в чем оно заключалось.

«Бродяги Дхармы» начинались позавлекательнее: «Как-то в полдень, в конце сентября 1955 года, вскочив на товарняк в Лос-Анджелесе, я забрался в “гондолу” – открытый полувагон и лег, подложив под голову рюкзак и закинув ногу на ногу, созерцать облака, а поезд катился на север в сторону Санта-Барбary», – путешествия на товарняках и попутках в юности были одним из моих любимейших времяпрепровождений. На дороге, когда не знаешь, где окажешься к вечеру и где будешь ночевать, мною овладевало необыкновенно сладостное ощущение полнейшей свободы. Это было ни с чем не сравнимое счастье – высушить только что выстиранные носки на поваленном дереве близ речушки, чьего имени тебе так и не суждено узнать. И герой Керуака знал толк в этих радостях.

«Я жарил сосиски на свежесрезанных заостренных палочках над углями большого костра, там же разогревал в жарких красных ямках банку бобов и банку макарон с сыром, пил свое давешнее вино и праздновал одну из чудеснейших ночей моей жизни. Забрел в воду, окунулся, постоял, глядя в великолепное ночное небо, на вселенную Авалокитешвары, вселенную десяти чудес, полную тьмы и алмазов, и говорю: “Ну вот, Рэй, осталось совсем чуть-чуть. Все опять получилось”. Красота. В одних плавках, босиком, растрепанному, в красной тьме у костра – петь, прихлебывать винцо, сплевывать, прыгать, бегать – вот это жизнь». Но все-таки Рэй Смит лишь обаятельный обормот в сравнении с главным бродягой Дхармы Джефи Райдером.

Я увидел Джифи, топающего своей забавной крупной походкой скалолаза, с рюкзачком, набитым книгами, зубными щетками и всякой всячиной, это был его “городской” рюкзачок, в отличие от настоящего, большого, с полным набором: спальный мешок, пончо, походные котелки. Он носил острую бородку, а слегка раскосые зеленые глаза придавали ему нечто восточное, но никак не богемное, и вообще он был далек от богемы (всей этой шушеры, ошивающейся возле искусства). Жилистый, загорелый, энергичный, открытый, сама приветливость, само дружелюбие, он даже с бродягами на улице

здоровался, а на все вопросы отвечал не думая, сходу, и всегда бойко и с блеском.

— Где ты встретил Рэя Смита? — спросили его, когда мы вошли в “Плейс” — любимый бар местной тусовки.

— Я всегда встречаю своих бодхисаттв на улице! — воскликнул он и заказал пива.

Герои постоянно обмениваются премудростями дзен-буддизма, что бы это ни означало, и не привязаны ни к какой скучной работе, однако Джифи никак не богема, стремящаяся заменить создание художественных произведений, «артистическим» образом жизни: Джифи прекрасно знает восточные языки и «практики», получает гранты для научной работы, серьезно пишет и переводит, — он лишь стремится освободиться от всего ненужного, усложняющего и ухудшающего жизнь, как он ее понимает.

Джифи на культовую фигуру тянет вполне: он и пишет замечательные стихи о койотах, медведях и жителях предместий, загнанных в дома, построенные из несчастных погубленных деревьев, он и знаток восточных культур, он и лесоруб, и неутомимый альпинист, и щедрый аскет, ведущий удивительно вкусную и здоровую скучную жизнь, предаваясь сладким таинствам любви открыто и утонченно, как это делается в тибетских храмах под именем «ябыом».

Слишком серьезный и ответственный, — может быть, именно поэтому он и не стал культовой фигурой. А Керуак стал. Ученость, серьезность, ответственность — да от них-то народ и хочет сбежать, а ему предлагают перейти из одного ярма в другое, да еще из общего, где можно сачкануть, в личное, добровольно надетое, из которого уже тайно не ускользнешь.

И все-таки роман не стал культовым, культовым сделался роман «На дороге» с миллионными продажами и покупкой бумажного рулона, на котором он впервые был напечатан автором, за 2.43 миллиона долларов.

И во всем этом рулоне царит бесшабашность и безответственность, о которых в глубине души, возможно, мечтают даже паиньки из паинек: ведь если от игра труда отдельным счастливчикам и удается уклониться, то бремя долга это иго, которое всегда с тобой, — даже,бросив его, мы переходим под власть другого — угрызений совести. А тут наконец явлен сверхчеловек, абсолютно свободный от всей этой человеческой, слишком человеческой шелухи.

Роман прямо-таки столпотворение всяческой ахинеи, но рядом с человеческой суетой и безумием у Керуака всегда безмолвствует что-то величественное и прекрасное. «Над всею темной восточной стеной Великого Перевала в эту ночь была лишь тишина да шепот ветра, только в одном-единственном ущелье ревели мы; а по другую сторону Перевала лежал огромный Западный Склон – большое плато, которое доходило до Стимбоут-Спрингс, отвесно обрывалось и уводило в пустыни Восточного Колорадо и Юты; везде стояла тьма, а мы бесились и орали в своем маленьком уголочке гор – безумные пьяные американцы посреди могучей земли».

А когда Керуак изображает случайную дорожную влюблённость, она быстро перерастает в серьезное чувство. И его герой уже готов взять на себя ответственность за бездомную молодую женщину и ее ребенка, ради них он готов даже собирать хлопок вместе с нищими сезонниками. А, убедившись, что он и хлопок собирает хуже всех, герой опять-таки не забывает на всех и вся, напротив, он проклинает свою никчемность, как это и свойственно всем ответственным мужчинам. Но его возлюбленная все равно вновь возвращается в тот мрачный мир, в котором все-таки может хоть как-то прокормиться. А он возвращается в суету городов и в потоки машин.

Образ героя-рассказчика – образ славного неприкаянного парня, которого мир, похоже, отвергнул раньше, чем он сам отверг этот мир, но это не тот образ, который способен завлечь толпу: он не свободен ни от забот, ни от угрозений совести. Зато безбашенный дружок героя Дин Мориарти не сковывает себя никем и ничем: «Мы уже не понимали, что он несет. Он сел за руль и пролетел остаток штата Техас, около пятисот миль до самого Эль-Пасо, приехав туда в сумерках и не останавливаясь, если не считать одного раза, когда он снял с себя всю одежду, где-то под Озоной, и голым бегал, прыгая и вопя, по поляни».

Но даже бесшабашность Дина понемногу теряет свое обаяние, когда уж очень явно от нее начинает шибать клинической маниакальностью.

А потом становится невыносимо скучно все снова и снова зажигать, оттягиваться, отрываться, рассекать и врубаться. Чтобы в конце концов в мексиканской дыре вольный Дин бросил друга в дизентерийном полубреду. «Когда мне стало лучше, я осознал, что он за крыса, но тогда же мне пришлось понять и невообразимую сложность всей его жизни: как

он должен был меня здесь бросить, больного, чтобы сладить со своими женами и со своими бедами».

И его невыносимо жаль, когда он, осточертивший всем, кроме безумно влюбленной в него женщины, уходит один (Дин, о, Дин!), оборванный, в изъеденном молью пальто.

И вся любовь. И конец дороги.

Соблазнительна ли такая судьба? Тем более что сейчас известен и ее финал: прототип Дина Нил Кэсси迪 за четыре дня до своего сорок второго дня рождения был найден на обочине железнодорожного полотна в состоянии комы не то от переохлаждения (в одной футболке холодной дождливой ночью), не то вообще от образа жизни. Такая вот поэма экстаза.

Насладившись и пресытившись этим концентратом Керуака, я мог бы вроде бы и закончить свои изыскания, но остатки научной добросовестности, в просторечии именуемой занудством, заставили меня прочесть еще и «Биг-Сур» (СПб, 2013), который если и внушает какую-то идею, то разве лишь ту, что алкоголизм страшная болезнь, что от экзистенциального ужаса пьянство спасает очень ненадолго, а потом его лишь удесятеряет, и помочь тут не может ни грандиозная природа, ни буддизм, о котором уже нет и помину, ни слава культового автора, от которого ждут воспетой им бесшабашности, какого-то «благородного битничества», а он чувствует себя измученным и старым (до смерти в сорока семилетнем возрасте ему и впрямь оставалось недалеко). Ни восхищаться, ни подражать ему совершенно не хочется, упаси Бог, – его можно только жалеть.

А когда паломники, вернее поклонники рвутся к нему в дом, и он целый день шатается по комнатам пьяный, дабы соответствовать собственному образу, в нем уже начинаешь видеть прямо-таки жертву культа.

Жертву собственного культа.

Лет десять назад мне казалось, что и у нас намечается литература – как бы выразиться поумнее? – «постпотерянного поколения» (или лучше «потерянного постпоколения»?): обманули не только все высокие слова, но и друг с любимой оказались не лучше, когда под настроение как-то решили переспать друг с другом. Не обманула только кружка рома, умеющая явиться под личиной самых разных психоактивных препаратов.

Однако ни в какое заметное романтическое движение эта разочарованность не вылилась, плащ Чайлд-Гарольда никому не пришелся впору. И это, пожалуй, не случайно.

Романтический одиночка, отвергающий то, чем довольствуется толпа, возможен, видимо, только в благополучные эпохи. Отказаться от благополучия – это красиво, но бежать от бедности, трудов и забот – в этом нет ничего романтического, это всего лишь рационально. Отказаться от политических грез во имя трагической безнадежности – это красиво, но отвергнуть общую безнадежность ради личной беспечности – в этом тоже нет ничего романтического. В выборе между трудным и легким романтик выбирает трудное, иначе какой же он романтик!

Для романтика красота важнее, чем польза. Но в выборе легкого пути ничего красивого нет. Так поступают и прагматики.

ГОРОД ГОЛОДНЫХ И СЫТОСТЬ СЫТЫХ

Размышления о романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева»

Столетие со дня Октябрьской революции пролетело хотя и быстрее прочих, но мы оглянулись на нее успели не раз, не два и не тысячу, накопив не так уж мало высококультурных объяснений ее грандиозности и свирепости. А поскольку каждый человек черпает объясняющие модели из собственной сферы деятельности, подобно тому, как в рассказе Марка Твена «Часы» бывший сапожник желает поменять часам подметки, а бывший кочегар – продуть им клапаны, то культурные люди ищут объяснений в культурных традициях России (культурный детерминизм вообще выходит в авторитетные ветви социального расизма). Причины столь жестокого раскола общества ищут и в петровских реформах, разделивших общество на русскую Европу и русскую Азию, и в крепостном праве, разделившем общество на рабов и господ, и в отсутствии демократических традиций, порождающих привычку искать компромиссные решения, и во влиянии культурно чуждых инородцев, не желающих и не способных понять в сей миг кровавый, на что они поднимают руку...

Так что в дни этого мрачного юбилея, имеет смысл перечитать всем известный роман Джона Стейнбека «Гроздья гнева» (перевод Н. Волжиной), специально высматривая переклички Америки с ее антиподом

– с Россией, и даже с Советской Россией. Хотя дело происходит не в крестьянской, а в индустриальной стране, не знавшей ни монархии, ни (для белых) рабства, не имеющей (среди тех же белых) национальных меньшинств, настолько униженных, чтобы это могло бы поднять их на смертельно опасную борьбу, ни – последнее в перечислении, но едва ли не первое по значению – измучившей и ожесточившей народ войны. Это всего-то навсего американская Великая депрессия.

Однако оклахомских фермеров гонят из домов не финансовые бури, а технический прогресс – трактор. Пробуждая в прогрессивном писателе чувства и мысли совершенно почвеннические.

Домишки в полях стояли опустевшие, а если опустели домишки, значит, опустели и поля. Не пустовали только сараи для тракторов, и эти сараи из рифленого железа поблескивали на солнце серебром; там пахло бензином и маслом, там сверкали диски плугов. Тракторы были с фарами, потому что для трактора не существует ни дня, ни ночи диски режут землю в темноте, режут и днем, сверкая на солнце. Когда лошадь возвращается с поля в стойло, жизнь в стойле не угасает, там слышно дыхание, там тепло, под ногами ее шуршит солома, на зубах похрустывает сено, лошадь поводит ушами, смотрит. В стойло возвращается жизнь, там пахнет ее теплом. Но когда мотор трактора прекращает работу, трактор становится мертвым, как тот металл, из которого он сделан. Тепло покидает его, как покидает оно труп. Двери из рифленого железа закрываются, и тракторист уезжает домой в город, иной раз миль за двадцать отсюда, и он может не возвращаться недели, месяцы, потому что трактор мертв. Это просто и удобно. Настолько просто, что чудо, которое есть в труде, исчезает; настолько удобно, что и жизнь земли перестает казаться чудом, а если нет чуда – нет и близости к земле, нет родственного понимания земли. И тракторист относится к ней пренебрежительно, точно чужак, которому мало что понятно здесь и ничто не близко. Ибо селитра и фосфаты – это еще не вся земля; и длина хлопкового волокна – это тоже не вся земля. Углерод, соли, вода и кальций не составляют человека. Все это есть в нем, но он нечто большее, гораздо большее, и земля – это гораздо больше, чем химический состав почвы.

Не нашлось в Америке своих Бухариных, чтобы выкопоть с корнем эту есенинщину. Хотя у автора пробиваются мечты чуть ли не о колхозах – просто удивительно сходство этих грез по обе стороны океана.

А разве трактор – это плохо? Разве в той силе, которая проводит длинные борозды по земле, есть что-нибудь дурное? Если б этот трактор принадлежал нам, тогда было бы хорошо, – не мне, а нам. Если б наши тракторы проводили длинные борозды по нашей земле, тогда было бы хорошо. Не по моей земле, а по нашей. Мы любили бы этот трактор, как мы любили эту землю, когда она была наша. Но трактор делает сразу два дела: он вспахивает землю и выкорчевывает с этой земли нас. Между таким трактором и танком разница небольшая. И том, и другой гонят перед собой людей, охваченных страхом, горем. Тут есть над чем призадуматься.

С земли согнали одного фермера, одну семью; вот его дряхлая машина со скрипом ползет по шоссе на Запад. Я лишился земли, моей землей завладел трактор. Я один, я не знаю, что делать. А ночью эта семья останавливается у придорожной канавы, и к ее становищу подъезжает другая семья, и палаток уже не одна, а две. Двое мужчин присаживаются на kortочки поговорить, а женщины и дети стоят и слушают. Вы, кому ненавистны перемены, кто страшится революций, смотрите: вот точка, в которой пересекаются человеческие жизни. Разъедините этих двоих мужчин: заставьте их ненавидеть, бояться друг друга, не доверять друг другу. Ведь здесь начинается то, что внушиает вам страх. Здесь это в зародыше. Ибо в формулу «я лишился своей земли» вносится поправка; клетка делится, и из этого деления возникает то, что вам ненавистно: «Мы лишились нашей земли». Вот где таится опасность, ибо двое уже не так одиноки, как один. И из этого первого «мы» возникает нечто еще более опасное: «У меня есть немного хлеба» плюс «у меня его совсем нет». И если в сумме получается «у нас есть немного хлеба», значит, все стало на свое место и движение получило направленность. Теперь остается

сделать несложное умножение, и эта земля, этот трактор – наши.

Двигаться от моего к нашему – возможно, в сходстве этих грез в странах-антагонистах и нет ничего удивительного: они владели половиной

мира, и в нашей истории гораздо меньше специфики, чем нам кажется, — просто одним повезло, а другим не повезло. Но какой же дурак станет приписывать свой успех удаче — нет, только своей мудрости, и никак иначе.

Мудрые на месте разоряющихся фермеров, конечно, не поверили бы рассыпаемым повсюду агитационным листовкам, зовущим в страну Муравию, в Ташкент, город хлебный, — в Калифорнию, где можно хорошо зарабатывать на сборе винограда и персиков, там этого добра столько, что хоть обьешься, да и детишкам понравится, и работать можно в тени под деревьями...

И вот они — а их тысячи и тысячи — на купленных на последние центы заезженных машинах, теряя старых и больных, ползут к этому Эдему. Который отнюдь не рад таким гостям: агитлистовки зазывают в десять раз больше народу, чем нужно, чтобы люди из самодельных трущоб, гувервилей (издевательское обыгрывание имени президента Гувера), были готовы работать буквально ради физического выживания. Это, конечно, не концлагерь, но уже близко к тому. Тем более что ночевать на улице — а где еще? — запрещается, а гувервили время от времени сжигает полиция с помощью активистов из народа.

И мысли это порождает уже сильно красноватые, словно почва брошенной Оклахомы.

Земля сосредоточивалась в руках небольшой кучки людей, количество обездоленных росло, а крупные собственники знали только одно — усмирять. Деньги тратились на оружие, на газовые бомбы для защиты крупных владений; разосланные всюду агенты подслушивали ропот недовольных, чтобы пресечь бунт в корне. Изменениями в экономике пренебрегали, планами по переустройству экономики пренебрегали; на повестке дня были только те способы, которыми расправляются с бунтовщиками, а причины, порождающие бунты, существовали по-прежнему.

Тракторы, лишающие людей работы, конвейеры, машины, заменяющие человеческий труд, выпускались все в большем и большем количестве, и семьи одна за другой выезжали на дороги, пытаясь урвать хоть крохи от несметных богатств и жадно глядя на земли, расстилающиеся по пути. Крупные собственники объединялись для самозащиты и на собраниях своих ассоциаций обсуждали способы, с

помощью которых можно запугивать, убивать, отравлять газами. И больше всего их страшило вот что: триста тысяч... если у этих трехсот тысяч найдется вожак, главарь... тогда конец. Триста тысяч человек, голодных, несчастных. Если бы они поняли самих себя, земля перешла бы к ним, и никакие винтовки, никакие газы не остановили бы их. А крупные собственники – те, кого богатство сделало и больше и меньше рядового человека, – готовили себе гибель, хватаясь за средства, которые в конечном счете должны будут обратиться против них. Каждый их шаг, каждый акт насилия, каждый налет на бесчисленные гувервили, каждый шериф, расхаживающий по переселенческому лагерю, отдаляли немного день гибели и способствовали неизбежности этого дня.

А по дорогам движется еще полмиллиона, и еще миллион готов вот-вот сняться с места, а еще десять проявляют признаки беспокойства...

И это пугает не только крупных, но и вполне мелких собственников, всего лишь сытых да имеющих крышу над головой – ведь это в первую очередь им угрожает надвигающаяся голодная саранча!

И они идут в шерифские понятые, что-то вроде наших дружинников, объединяются общим желанием дать отпор – тут-то бы и задействовать одну из наших схем – азиаты против европейцев, господа против рабов, белая кость против черной, ну, хоть бы влияние злоказненных инородцев – так даже инородцев нет. Нет и самого непримиримого конфликта – конфликта грез: это люди одной расы, одного сословия, одной культуры и одной религии, просто одни голодные, другие сытые, одни бездомные, а другие имеют крышу над головой, одни измученные, а другие отдохнувшие. И вот из такой-то примитивности рождается непримиримая вражда, подтягивающая к себе уже и подручную идеологию.

Прежде всего – расчеловечить врага, это уже не люди, а быдло, я хотел сказать – Оки. Жители Оклахомы, спасающиеся от голодной смерти, уже не американцы, а Оки. Вот такие диалоги разыгрываются не между «крупными собственниками», а между простыми, так сказать, американскими мужиками. Которые начинают видеть недочеловеков в таких же мужиках только потому, что те голодные, грязные и замученные. И не понадобилось ни марксизма, ни расизма.

– Ну и народ! Оголтелые какие-то.

— Кто — Оки? Они все такие.

— А машина! Я бы на этом примусе побоялся с места сдвинуться.

— Ты! Мы с тобой люди как люди, а у этих Оки никакого понятия нет. Они и на людей не похожи. Настоящий человек не станет так жить, как они живут. Настоящий человек не помирится с такой грязью, убожеством. Этих Оки от гориллы не сразу отличишь.

— А все-таки хорошо, что не мне надо ехать через пустыню на таком «Гудзоне». Стучит, как молотилка.

— Их ничем не испугаешь. Такие тушицы даже не представляют себе, как это опасно. И вообще они дальше своего носа ничего не видят. Есть о ком беспокоиться!

И вся эта остервенелость, повторяю, нарастает только из-за того, что одни голодны, а другие сыты. И те, и другие уже готовы убивать, и убивают, когда хватает храбрости и в руки попадает оружие. Но первыми наносят удары сытые — на корню уничтожая потенциальных лидеров, и при всей жестокости и подлости этой тактики она приносит свои плоды. Голодным не удается объединиться и восстать, что ничего, кроме новых, еще более страшных бедствий, им наверняка не принесло бы: в который раз мир спасла не мудрость — когда она приводила в движение массы? — а тупость, подлость и жестокость.

И удача: тупость, подлость и жестокость оказались сильнее голода и унижений, на которых вызревали грозья гнева.

Непривычным для нас в этой схеме оказывается, пожалуй, лишь один персонаж — бродячий проповедник. Такой же простой парень, как и все (у американцев нет Церкви), только более экзальтированный, всерьез относящийся к своим бесхитростным размышлениям о Боге и смысле сущего, а потом так же всерьез усомнившись в своем праве проповедовать. И не случайно именно он из всех центральных персонажей и становится кем-то вроде профсоюзного лидера. Опять-таки никаких ни революционных, ни эволюционных идей он не исповедует, он только подбивает голодающих не сдаваться на совсем уж убийственные расценки. За что его и убивают простые калифорнийские парни, защищающие от голодной саранчи свой дом и сад. И нельзя сказать, что в этом нет ничего личного, — они ненавидят «красную сволочь» праведной личной ненавистью. Правда, без признаков утопического безумия.

К слову сказать, столь заметное присутствие религиозного экстаза в стейнбековской Америке наводит на мысль, что мы, возможно, недооцениваем влияние религии в стране, слывущей авангардом модернизации.

Вот и у знаменитой представительницы американской южной школы Фланнери О'Коннор (1925 – 1964) религиозные конфликты достигают порой запредельного накала. В ее романе «Царство Небесное силою берется» (СПб, 2005, перевод А. Василенко, В. Михайлина) двоюродный дед готовит своего внука племянника не более и не менее, как во пророки. «Старик называл себя пророком, и мальчика воспитал в убеждении, что Господне призвание непременно сизойдет и на него тоже, и готовил внука к тому дню, когда это произойдет. Он научил его, что путь пророка тернист, и на долю ему выпадают разные бедствия, и бедствия мирские суть пустяк в сравнении с теми, что посланы Господом, дабы испепелить пророка истиной. Его самого огнь Господень тоже испепелял – и не раз. И через огнь Господень ему даровано было знание».

Состоявшийся пророк, призванный возвестить падшему миру его гибель, увозит будущего пророка на вырубку, куда почти невозможно добраться социальным работникам. А если их встретить с ружьем в руках, а мальчика изобразить слабоумным, так у них и вовсе пропадает охота соваться в Божеские дела.

Разумеется, старик явно не в себе, но бред психотиков довольно часто лишь доводит до гротеска грэзы, которыми живут нормальные люди. Не пожалела же крупная писательница целого романа для изображения такой фигуры, да и сама она, убежденная католичка в протестантском окружении, частенько выступала с религиозными лекциями и даже оставила книгу богословской переписки.

Ну, писатели народ экстравагантный, но многие известные американские политики тоже поминают Бога в публичных выступлениях, – может быть, это делается не только для красоты слова?

И здесь самое время остановиться, дабы не пуститься в дилетантские обобщения о менталитете американцев, поскольку в подобных рассуждениях о менталитете русских и евреев ничего не дилетантского мне ни разу еще не попадалось.

Да и возможно ли оно, что-то не дилетантское, когда речь идет о предметах неисчерпаемо сложных и бесконечно противоречивых?

ПОЭЗИЯ

Владимир АЛЕЙНИКОВ. «Откуда бы музыке взяться опять?» *Стихи*

* * *

Откуда бы музыке взяться опять?
Оттуда, откуда всегда
Внезапно умеет она возникать –
Не часто, а так, иногда.

Откуда бы ей нисходить, объясни?
Не надо, я знаю и так
На рейде разбухшие эти огни
И якоря двойственный знак.

И кто мне подскажет, откуда плывёт,
Неся паруса на весу,
В сиянье и мраке оркестр или флот,
Прощальную славя красу?

Не надо подсказок, – я слишком знаком
С таким, что другим не дано, –
И снова с её колдовским языком
И речь, и судьба заодно.

Мы спаяны с нею – и вот на плаву,
Меж почвой и сферой небес,
Я воздух вдыхаю, которым живу,
В котором пока не исчез.

Я ветер глотаю, пропахший тоской,
И взор устремляю к луне, –
И все корабли из пучины морской
Поднимутся разом ко мне.

И все, кто воскресли в солёной тиши
И вышли наверх из кают,
Стоят и во имя бессмертной души
Безмолвную песню поют.

И песня растёт и врываются в грудь,
Значенья и смысла полна, –
И вот раскрывается давняя суть
Звучанья на все времена.

* * *

Конечно же, это всерьёз –
Поскольку разлука не в силах
Решить неизбежный вопрос
О жизни, бушующей в жилах,
Поскольку страданью дано
Упрямиться слишком наивно,
Хоть прихоть известна давно
И горечь его неизбытна.

Конечно же, это для вас –
Дождя назревающий выдох
И вход в эту хмарь без прикрас,
И память о прежних обидах,
И холод из лет под хмельком,
Привычно скребущий по коже,
И всё, что застыло молчком,
Само на себе непохоже.

Конечно же, это разлад
Со смутой, готовящей, щерясь,
Для всех без разбора, подряд,
Подспудную морось и ересь,
Ещё бестолковей, верней –
Паскуднее той, предыдущей,

Гнетущей, как ржавь, без корней,
Уже никуда не ведущей.

Конечно же, это исход
Оттуда, из гиблого края,
Где пущены были в расход
Гуртом обитатели рая, –
Но тем, кто смогли уцелеть,
В невзгодах души не теряя,
Придётся намаяться впредь,
В ненастных огнях не сгорая.

* * *

Ставшее достоверней
Всей этой жизни, что ли,
С музыкою вечерней
Вызванное из боли –
Так, невзначай, случайней
Чередованья света
С тенью, иных печальней, –
Кто нас простит за это?

Пусть отдавал смолою
Прошлого ров бездонный,
Колесованье злое
Шло в толчее вагонной, –
Жгло в слепоте оконной
И в тесноте вокзальной
То, что в тоске исконной
Было звездой опальной.

То-то исход недаром
Там назревал упрямо,
Где к золотым Стожарам
Вместо пустого храма,
Вырванные из мрака,

Шли мы когда-то скопом,
Словно дождавшись знака
Перед земным потопом.

Новым оплотом встанем
На берегу пустынном,
Песню вразброд не грянем,
Повременим с почином, —
Лишь поглядим с прищуром
На изобилье влаги
В дни, где под небом хмурым
Выцвели наши флаги.

* * *

Для смутного времени — темень и хмаръ,
Да с Фороса — ветер безносый, —
Опять самозванство на троне, как встарь,
Держава — у края откоса.

Поистине ржавой спирали виток
Бесовские силы замкнули, —
Мне речь уберечь бы да воли глоток,
Чтоб выжить в развале и гуле.

У бреда лица и названия нет —
Глядит осьмиглавым драконом
Из мыслимых всех и немыслимых бед,
Как язвой, пугает законом.

Никто мне не вправе указывать путь —
Дыханью не хватит ли боли?
И слово найду я, чтоб выразить суть
Эпохи своей и юдоли.

Чумацкого Шляха сивашскую соль
Не сыплет судьба надо мною —

И с тем, что живу я, считаться изволь,
Пусть всех обхожу стороною.

У нас обойтись невозможно без бурь –
Ну, кто там? – данайцы, нубийцы? –
А горлица кличет сквозь южную хмурь:
– Убийцы! Убийцы! Убийцы!

Ну, где вы, свидетели прежних обид,
Скитальцы, дельцы, остроумцы? –
А горлица плачет – и эхо летит:
– Безумцы! Безумцы! Безумцы!

Полынь собираите гурьбой на холмах,
Зажжённые свечи несите, –
А горлица стонет – и слышно впотьмах:
– Спасите! Спасите! Спасите!

* * *

Воображенья торжество
Да непомерные мученья,
Как бы на грани всепрощенья,
А рядом – рядом никого.

Покуда сияются сверчки
По щаду вымолить у неба,
Я жду и всматриваюсь – все бы
Так миру были бы близки.

Когда бы все ловили так
Приметы каждого мгновенья,
В ночи оттачивая зренье,
Прозрел бы звук, звучал бы знак.

Не потому ли мне дана
Впрямую, только лишь от Бога,

Как небывалая подмога,
Душа – и чувствует она,

Как век, отшатываясь прочь,
Клубясь в сумятице агоний,
Зовёт, – и свечка меж ладоней
Горит, – и некому помочь,

Никто не может, ничего,
Что схоже с откликами, нету, –
И вот, в тоске по белу свету,
На ощупь ищешь ты его.

* * *

Тирсы Вакховых спутников помню и я,
Все в плюще и листве виноградной, –
Прозревал я их там, где встречались друзья
В толчее коктебельской отрадной.

Что житуха нескладная – ладно, потом,
На досуге авось разберёмся,
Вывих духа тугим перевяжем жгутом,
Помолчим или вдруг рассмеёмся.

Это позже – рассеемся по миру вдрывзг,
Позабудем обиды и дружбы,
На солёном ветру, среди хлещущих брызг,
Отстоим свои долгие службы.

Это позже – то смерти пойдут косяком,
Тоувечья, а то и забвенье,
Это позже – эпоха сухим костяком
Потеснит и смутит вдохновенье.

А пока что – нам выпала радость одна,
Небывалое выдалось лето, –

Пьём до дна мы – и музыка наша хмельна
Там, где песенка общая спета.

И не чуем, что рядом – печали гуртом,
И не видим, хоть, вроде, пытливы,
Как отчётило всё, что случится потом,
Отражает зерцало залива.

* * *

Для высокого строя слова не нужны –
Только музыка льётся сквозная,
И достаточно слуху ночной тишины,
Где листва затаилась резная.

На курортной закваске замешанный бред –
Сигаретная вспышка, ухмылка,
Где лица человечьего всё-таки нет,
Да пустая на пляже бутылка.

Да зелёное хрустнет стекло под ногой,
Что-то выпорхнет вдруг запоздало, –
И стоишь у причала какой-то другой,
Постаревший, и дышишь устало.

То ли фильма обрывки в пространство летят,
То ли это гитары аккорды, –
Но не всё ли равно тебе? – видно, хотят
Жить по-своему, складно и твёрдо.

Но не всё ли равно тебе? – может, слывут
Безупречными, властными, злыми,
Неприступными, гордыми, – значит, живут,
Будет время заслуживать имя.

Но куда оно вытекло, время твоё,
И когда оно, имя, явилось –

И судьбы расплескало хмельное питьё,
Хоть с тобой ничего не случилось,

Хоть, похоже, ты цел – и ещё поживёшь,
И ещё постоишь у причала? –
И лицо своё в чёрной воде узнаёшь –
Значит, всё начинаешь сначала?

Значит, снова шагнёшь в этот морок земной,
В этот сумрак, за речью вдогонку? –
И глядит на цветы впереди, под луной,
Опершись на копьё, амazonка.

* * *

Вот и вышло – ушла эпоха
Тополиного пуха ночью,
В час, когда на вершок от вздоха
Дышит лёгкое узорочье.

Над столицею сень сквозная
Виснет маревом шелестящим –
И, тревожась, я сам не знаю,
Где мы – в прошлом иль в настоящем?

Может, в будущем возвратятся
Эти шорохи и касанье
Ко всему, к чему обратятся,
Невесомое нависанье.

Сеть ажурная, кружевная,
Что ты выловишь в мире этом,
Если дружишь ты, неземная,
В давней темени с белым светом?

Вспышка редкая сигаретки,
Да прохожего шаг нетвёрдый,

Да усмешка окна сквозь ветки,
Да бездомицы выбор гордый.

Хмель повыветрит на рассвете
Век – железный ли, жестяной ли,
Где-то буквами на газете
Люди сгрудятся – не за мной ли?

Смотрит букою сад усталый,
Особняк промелькнёт ампирный, –
Пух сквозь время летит, пожалуй,
Повсеместный летит, всемирный.

Вот и кончились приключенья,
Ключик выпал, – теперь не к спеху
Вспоминать, – но влечёт мученье –
Тополиного пуха эхо.

* * *

Курево скверное – «Ватра»,
Ветер вокруг расплескал
Южного амфитеатра
Улиц, извилин и скал
В духе небрежного жарта
Отзвуки – и на потом
Бросил в сторонке без фарта
Всё, что завяжет жгутом.

Буквы аршинные, титры
Видео, ругань и ложь,
Мирта уступы и митры,
Всё, что живьём не возьмёшь,
Всё, что оставят на завтра,
На опохмелку, в запас,
Для перековки, для гарта,
Словом – подальше от глаз.

Пляжи скольжением гидры
Слепо мелькнут за бортом,
Слёзы случайные вытри,
Молча в кругу испитом
Стой – и гляди неотрывно,
Как остаётся вдали
Всё, что кричало надрывно
О приближение земли.

Как бы мне выпало время
Там побродить, где бывал
В юности вместе со всеми,
Кто эту жизнь познавал, –
Только по нраву ли будет
Всё, что по праву влекло?
Кто меня там не осудит? –
И вспоминать тяжело.

* * *

Разъединённые в сумятице мирской,
Утратили способность мы к сближению,
А это значит – жизни продолженью,
И звенья сдерживаем россыпи людской
Уже с усилием – вот-вот и разорвётся
Цепь связей наших – и пойдёт разброд,
Где, хаос не приемля, небосвод
Над новой смутой горько усмехнётся.

Увидев то, что только нам дано
Увидеть было – долгую неволю,
И всё, что с веком выпало на долю,
И то, что в сердце было сожжено,
Познали мы немалую печаль,
Но знания такого, видно, мало
Нам было, – вот и терпим, как, бывало,

Терпели в дни, которых, впрочем, жаль.

И ждём чего-нибудь, да только вот – чего?
Не то, что радости – спокойствия хотя бы,
Шагаем через ямы да ухабы,
А рядом нету никого,
А рядом пусто, пусто и темно,
И ночь вселенскою нам кажется порою –
И то нас тянет вроде к Домострою,
А то затягивает скверное вино.

И нет возможности сдержать разлад и бред,
Скрепить мгновения хотя бы нитью тонкой, –
Уже и почва под кислотной плёнкой
Натужно дышит, и белёсый след
Солей несметных вытянулся вдоль
Земной оси, засыпал все широты –
И Млечный Путь настиг у поворота,
Где живы всё же – Дух, Любовь, Юдоль.

* * *

Век не гулянье и кровь не вода,
Верность и та запоздала,
Время пройдёт – и не сыщешь следа,
Где красота отрыдала.

Время вплеснётся – и вытянет нить,
Свяжет узлы и события, –
В чём же ненастье ты хочешь винить
С нечистью, с волчьею сытью?

В том ли, что часто встречались они
В трудную пору, в дороге?
Время встряхнётся – и прежние дни
Кажутся чище в итоге.

Век ненасытен – и поздно вставать
На перепутье дозором, –
Время взгрустнёт – и нельзя горевать,
Глядя на пламя с укором.

Ходишь и смотришь – и дальше ходи
Там, за рекою рябою,
Слышишь и видишь – и дальше веди
Всех, кто пойдёт за тобою.

Хочешь и можешь – и должен пройти
Весь лабиринт становленья,
Чуешь и веришь – и должен в пути
Всех оставлять в изумленье.

Проще смотри на земные дела,
Реже советчиков слушай,
Чаще молись, чтобы вера вела
Кромкой меж морем и сушей.

Шире объятья для речи раскрой,
Душу свою сберегая,
Чтобы вон там, за Святою горой,
Эра встречала другая.

* * *

Слова и чувства стольких лет,
Из недрочных встающий свет,
Невыразимое, земное.
Чью суть не всем дано постичь,
И если речь – в ней ключ и клич,
А может, самое родное.

Давно седеет голова –
И если буйною сперва
Была, то нынче – наподобье

Полыни и плакун-травы, –
И очи, зеленью листвы
Не выцвев, смотрят исподлобья.

Обиды есть, но злобы нет,
Из бед былых протянут след
Неисправимого доверья
Сюда и далее, туда,
Где плещет понизу вода
И так живучи суеверья.

И здесь, и дальше, и везде,
Судьбой обязанный звезде,
Неугасимой, сокровенной,
Свой мир я создал в жизни сей –
Дождаться б с верою своей
Мне пониманья во вселенной.

* * *

Багровый, неистовый жар,
Прощальный костёр отрешенья
От зол небывалых, от чар,
Дарованных нам в утешенье,
Не круг, но расплавленный шар,
Безумное солнцестоянье,
Воскресший из пламени дар,
Не гаснущий свет расставанья.

Так что же мне делать, скажи,
С душою, с избытком горенья,
Покуда смутны рубежи,
И листья – во влажном струенье?
На память ли узел вяжи,
Сощурясь в отважном сиянье,
Бреди ль от межи до межи,
Но дальше – уже покаянье.

Так что же мне, брат, совершить
Во славу, скорей – во спасенье,
Эпох, где нельзя не грешить,
Где выжить – сплошное везенье,
Где дух не дано заглушить
Властям, чей удел – угасанье,
Где нечего прах ворошить,
Светил ощущая касанье?

* * *

От разбоя и бреда вдали,
Не участвуя в общем броженье,
На окраине певчей земли,
Чей покой, как могли, берегли,
Чую крови подспудное жженье.

Уж не с ней ли последнюю связь
Сохранили мы в годы распада,
Жарким гулом её распаляясь,
Как от дыма, рукой заслоняясь
От грядущего мора и глада?

Расплескаться готова она
По пространству, что познано ею –
Всею молвью сквозь все времена –
Чтобы вновь пропитать семена
Закипающей мощью своею.

Удержать бы зазубренный край
Переполненной чаши терпенья! –
Не собачий ли катится лай?
Не вороний ли пенится грай?
Но защитю – ангелов пенье.

Нина БАЛАНДИНА. Мы были живы

* * *

Вновь сентябрят. Приятен сей недуг:
Проснешься – и лети, куда захочешь...
Но свет тяжёл, и нет стремленья рук,
Наполненных объятиями ночи.

И всё ж взлетай. С балконного крыльца
Так непорочен вызов светлой дали,
Где кроны, а не корни у лица,
Свет зарожденья тьмой не опечален.

И вновь восходит взлётной полосой
Любой из дней сентябрьского настоя.
Балкон – и свет небесного покоя,
И парашютик жизни за спиной.

* * *

Продли благоденствие, время,
И дай насладиться весной
Общеньем с любимыми: теми,
Кто в вечности рядом со мной.

Душой ли, движеньем приветным,
Прищуром смеющихся глаз...
И мартом, пришедшим победно,
Рождающим строки для нас.

И там, где расстреляны кроны
И выжжены земли дотла,
Верни ощущение дома:
Защиты, любви и добра.

Продли ожиданья и встречи
И эту небрежность весны,

Чьи девичьи хрупкие плечи
Светлы чистотой новизны.

* * *

Просыпаешься, щуришь от света глаза.
Ничего еще видеть спросонья нельзя.
Лишь предчувствие невозврата:
Лето кончилось, и сошла на нет
Беспределность дороги, которой нет...
Ожидаемая расплата.

Вот цветение астр ветерок донес.
Подбежал и остался зачем-то пес –
Улыбающаяся морда.
И калитка раскрыта: входи, кто хошь.
Всем на счастье калина прицепит брошь.
На крылечке обувка любого сорта.

Как рубеж – мой последний летящий день:
Завтра осень,- ветровку достань-надень,
Заплети по-школьному косы, нос припудри, облезла кожа...
Просыпаешься. К зеркалу подойдешь.
Что в нем истинно? –
Только ложь
Так со счастьем бывает схожа.

* * *

Оказавшись у самого края
На потерянном речкой мосту,
Неподвижно стоишь, выживая
Средь сердечных тревог и остуд.
Немотою зайдешься от боли.
Задохнешься и выплыvешь вновь
Рядом с домом, казавшимся полем
В перепутье вселенских ветров.

Что бы день нам с тобой ни назначил, –

Не спастись, не отбиться уже.
Потому и смеемся, и плачем
На протоптанной в поле меже.
Потому и глядимся друг в друга
Словно в зеркало, – день обращен
В карусель бесконечного круга:
Мать и дочь, мать и дочь. Друг за другом
Мать и дочь...
Не забыто еще.

* * *

Мы были живы: мать, отец и я.
Но постепенно жизнь оскудевала,—
И вот отец под белым покрывалом
И нечего сказать: идёт зима!..
Свет матери тончает на лету.
И вот уже я вспомнить не могу,
Когда б с ней за руки так крепко мы держались:
Что стоит в жизни эдакая малость!

Я пообвыкла в гулкой суете
Иметь привычки – нет, уже не те :
Стоять в очередях, в лифтах кататься,
Здороваться не с каждым... Это братство
Осталось там, за тридевять земель,
Где колыбелью детства служит Вель,
И лето – в желторотиках акаций.

....

Мы были живы. Вот опять живём
И населяем каменный свой дом
Негромким смехом – верою в бессмертье...
Где каждый раз, в опять пришедшем лете,
Звучат, не прерываясь, имена:
Так звали нас, зовут родных и близких.
И ряд берёз, хранящий обелиски,
Всё тот же на обветренных холмах.

* * *

Зарастает тропа дождями высокими – до небес.
Камнями-корнями, ветрами, забитыми в буреломы.
Заблудившимся эхом опустевших в безвесье мест,
Что уже позабыты...

Вот разве что кроме
Этой дикой рябины, всходящей почти до нутра высот
Там, где плавятся тучи, опадая на нас громами.
Чьи взлетевшие ветви не гнутся: их цель – бросок –
Зацепиться за облака и куда-нибудь... за облаками.
Напрягаются гроздья, топорща горчащий свет.
Раздирается тьма на костры, что еще не дозрели.
Нас с тобою не ждут, и дороги туда нам нет, –
Только эта рябина, хранящая колыбели
Всех дремот и тайн голосов, теней,
Окружающих елей-оруженосцев.

Только эта рябина (была моей!),
Вознесенная над откосом.

* * *

Вновь река качает боны, тучи бродят в небесах,
И лесов цветные кроны тают прямо на глазах.
Вся листва летит как письма: ниоткуда в никуда, –
Только свет, упавший низко, предваряет холода.
Всё закончится однажды: старый дом, как старый дед,
Покосится, чуть покашляв, и погасит лунный свет.
День, что был когда-то близок (оторвавшийся листок),
Тенью ляжет вдоль карниза там, где старое гнездо.
Скоро снег, с прошедшим вровень, притормаживая прыть...
Вновь октябрь, горушка, боны...

И река, которой плыть.

* * *

Заглушая тишину, вряд ли многое услышишь, –
Из неё растут слова и выпархивают сны.
Это только в тишине обживаются небо крыши,
Звёзды сходятся на кухнях, в ожидании весны.

Это только в тишине – мудрой заводи разлуки –
Познаётся скорбь величья и таинственность родства...
Не затем ли сентябрей всходят радужные дуги,
Чтоб сгореть в кострах осенних, зародившись в них едва.

Так ли, эдак жизнь идёт, но кольца не размыкает.–
У сторожкой тишины, там, где улица звенит,
Вновь с Рождественки спешат красной змейкою трамваи,
А на Трубной, у киоска, вновь шары летят в зенит.

Приглушая тишину, время кружится невнятно:
В Старом цирке старый праздник – выступает Карандаш!
Только как смириться с тем, что над нашей голубятней
Снова тучи с облаками,
А не голуби
Летят.

Андрей БЛИНОВ. Современная сказка

ПАМЯТИ

Заклинаю тебя: явись
На минуту хотя б, как раньше...
Птицы с шумом штурмуют высь,
Слышно пение половиц:
Старый дом охраняют стражи.
Оборотишься – никого...
Я хочу, презирая хворость,
Воротиться в тот давний год:
Жеребята во мгле лугов,
Мама в печку кидает хворост,
Мне четыре, я в меру глуп,
И в грозу, не скрывая дрожи
Первобытной, от пят до губ,
Вслед за бабкой твержу в углу
Заклинанье: «Святые боже...»
Помню птичий немой простор
Из моих озорных фантазий.
Там страда, там народ простой,
Деревенское торжество –
Головастики в луже грязной.
Помню трепетный мех ягнят
И таинственный запах сена...
Старый дом. Язычки огня.
Ты опять исцелишь меня
Удивительно, совершенно!

* * *

Злой колдуньеи беснуется старая осень,
Шум таинственный, древний.
Я всё жду: прилетишь и ударишься о земль,
Обернешься царевной,

Будешь прядь у окна под мерцанье лучины

И качать колыбельку,
И говаривать сказки прилежно и чинно
Мне, убитому в стельку.

Прочь от нашего дома спровадишь недуги
В тридесятное царство,
И всамделишный волк будет нашей прислугой,
Благородный, клыкастый.

Буду поле пахать настоящим оралом,
Словно семь Симеонов,
Научусь находить необъятное в малом,
Хоть в травинке зеленой,

Научусь жить по чести, в достатке и правде...
Только лет через двадцать
Богатырь подрастет – и потребует «Ауди»
И серьезных дотаций.

Не заметишь, царевна, – лишишься короны.
Я возьму подработку,
На поклон к бюрократским дорожкам ковровым
Поташусь по субботам.

Богатырь подрастет, верным волком обласкан,
Всех сильнее и краше,
И начнется его современная сказка,
Не такая, как наша.

ДОГОВОРИТЬ

Рыжий кафель обычно драится трижды в месяц,
Но сейчас вне графика. Там, в глубине палат,
Лишь о том и суд, как на этом на самом месте
Извивался, встречая смерть, господин Пилат.

И бывалые-то не помнят, откуда прибыл
На довольствие этот странный смешной стариk,
Но по карточке – в свое время был крупной рыбой:
Прокурор ли, префект – из тех, кто давно привык

По работе и жизни дело иметь с отребьем,
Осуждать без пощады, не умывая рук,
И выслушивать всякий бред, что они натреплют,
Пропуская слова – как пыль на сухом ветру.

Так не буйный, но коль накатывает припадок,
Тянет руки к лампочке, к трещинам потолка
И внушает кому-то: договорить, мол, надо,
Надо, мол, завершить беседу, а всё никак...

И мозжит головой по кафелю больше часа,
И елозит по полу, напрочь лишенный сил...
А сегодня с утра он все-таки достучался.
Тот другой, в потолке, – наверно, его простили...

ПОСТСКРИПТУМ

Привет! Представляешь, видел тебя во сне...
С утра нездоровится. Ветreno, зябко. Снег
Подмерз, и мерещится – панцирь на город лег.
Ты пишешь: «Вот так и любовь превратится в лед».
«Она, – отвечаю, – крепчает во льду как раз!»
«Крепчает, – парируешь, – только один маразм».
Постскриптуом – знак вопроса и грустный смайл.
Родная... В тот вечер рассеянный – кто же знал,
Что дни превратятся в недели, а те – в квартал,
(В твои бесконечные мейлы: когда? когда?!),
Что просто застрять – трудно выбраться из норы,
И черт бы побрал этот серый, больной Норильск,
Партнеров, долги, обязательства эти все...
Я очень устал от сомнительных одиссей.
Звонок возвращает к жизни: терпеть! грести!

Я рядом... почти. На обратном конце Сети.

Сегодня Москву окончательно замело,
Как будто всё небо, скрошившись, упало вниз.
Мучительно страшно вернейшей из пенелоп,
Что к дому дорогу забудет ее Улисс...

Никита ГОФМАН. Память сиротеющей воды

* * *

Все сызнова срослось в одноголосицу,
в губную синеву худой весны.
Вот к чаду на колени старец просится
узорами лица гробов резных,
и клянчит колыбельную на идише,
и долго рассыхается в асбест.
Все то, что ты так сильно ненавидишь и
несешь в себе, роится и окрест:
капелью спит на мятом подоконнике
и в раненых ранеток рваный свист
вползает, как в заклеенные хроники
какой-нибудь следак-авантюрист,
и томно дышит из возникшей трещины,
где с голоду съедают кони кнут,
где пальцы хилых рук, давно обещанных,
обратно человека в глину минут.

* * *

Впопыхах выдыхая бескрылье ангин
в отворот головного убора,
забываешь внезапно пароль и логин,
виртуального голодомора
постигаешь азы и великих постов
не фиксируешь больше репосты.
– Как из лесополос не сорваться в Ростов
заготовливать к веснам компосты?
Как не грызть на ветру окровавленных губ
и налипших на них имяреков,
если ночью меня избегает суккуб,
избирай других человеков;
если щебень никак не залезет в карман
и вокруг никаких водоемов?
Колочусь головой, как засохший брахман
в чудо-бубы, в дверные проемы

и талдычу «нас тьмы и...», коль водопровод
перешел на режим эконома.

На какой мне, всевышний, подобный живот,
если там только дрянь с гастронома?

Господьбогмойпростименямятменяза

ногукакмневсетутнадоело

посмотримневглазапосмотримневглаза

покателомоенеистлело

Но внезапно приходит на ум: “qwe...”,

расползаясь по памяти спрутом.

Только чей-то ір в виртуальном фойе

нулевым все же бродит маршрутом.

* * *

Драматургия дрели в двадцать три
ноль-ноль (ну, хоть не кодла колядующих),
как в юношестве зреющий артрит,
загадочна, болезненна, волнующа.

Дыцать минут – и явится еще
(ну, эта, понял?) точка бифуркации.

Допущен кем ошибочный просчет?

Кто вылечит возникшую фрустрацию
и целый ряд невыученных слов
в невыспавшемся разуме сомнамбулы?

И сколько Валаамовых ослов,
отбросив пресловутые преамбулы,
обители покинув, перейдут
с молчания на рэ, на бойню с номером...

(забыл; прости меня, Курт Воннегут)

и пустят человека с дрелью по миру.

А человек по снегу так – дыр-дыр,
верней – скрип-скрип. Какая, в общем, разница...

Пускай бежит в смешной жужжащий мир,
а в наш, уснувший, пусть не возвращается.

* * *

Гrimuara гремучая грамота

непонятно о чем говорит:

– Вот подохнешь, дружочек, а тама-то
знает место любой сибарит.
И ты снишься себе семиклассником
на галерке в дырявом трико,
отголоском последнего праздника,
выносимого с болью легко.
Слышишь – гам, про Василича лекции,
злополучное это – Тарас.
Видишь – мальчики с класса коррекции,
миллион опоздавшие раз,
поджигают в сортире учебники
и гогочут над «Я породил...»
А потом им понравится Хлебников,
даже самый последний дебил
будет шепотом: «Кони...э... дышат»,
и смотреть по-другому в окно.
Только рушится мнимая крыша,
и ты сам гримуаром давно
притворился и грамотой муторной
жалишь неучей в тысячу жал,
будто мало в судьбине их бутора,
будто сам-то с Тараса не ржал.

* * *

Бельмо сойдет, соскоблят катаракту
и пряничных господ на кичу – брысь!
А мы с тобой, уставшие к антракту,
полезем в разложившуюся кысь –
и пусть горит сарай, пылает хата,
пока номенклатурный хоровод
все «ай-лёлэ» над ямкой для солдата,
которому случайно вбили в рот
чужой земли оставшиеся вдохи
славянские хмельные битмари.
Ты соберешь в буфете хлеба крохи –
и двинемся, как хмурые хмыри,

в густую требуху парного страха,
в худую неизвестность на крайняк.
В прорехах наша общая рубаха,
которую не вылечить никак.
Она лежит на скомканном борее,
как выщербленный призрак, как белымя.
Влезай сюда, влезай, влезай скорее,
тут, наконец, темно.

* * *

За то, что я дошел до глухоты,
за выщеженных нот прокисший клейстер
ямбические мощные хребты
сгибаются в любом доступном месте,
и ходит наобум былой скелет,
оставленный навечно в лаборантской,
и в скалах дремлет будущий стилет,
назначенный разлить меня, как краску.
Грошовая судьба, молчи со мной,
выписывай меня из этих строчек,
которые сумой мне и тюрьмой...
которыми я втайне мироточил,
пуская постепенно наугад
в уральский чернозем худые ноги.
Но вижу: галки, выклевав закат,
спускаются в бумажные чертоги.

* * *

Дернешься – и одеревенеешь,
Лотовой женой врастешь в пустырь.
Ветер перемен, куда ты веешь,
если на столе моем пустыр-
Ни к чему мне праздник эпохальный,
кем-то недожеванная снедь,
запах трупный грамоты похвальной
за возможность память мне стереть,
за удачу выломать мне руки,

за ошибку губы мне пришить
к подбородку. Вычурные буки,
я прошу хоть раз мне разрешить
поглядеть на ветер, не моргая,
подавиться пылью от копыт,
тупогубой бычелой летая,
мед в крови пока не закипит.

* * *

Я носил двустороннюю куртку
в холода и в удушливый зной.
Я такую придумал микстурку
от тоски. Хохотал надо мной
понимающий в стиле прохожий –
в общем, каждый второй, не солгу.
Перед всякой смеющейся рожей
я навек оставался в долгу.
В этой куртке потел и валялся
то под лавкой, то в парке космо-
нафтилином пропах, но поклялся
воровское не знать ремесло.
Залоснились манжеты и ворот
от житья на одной стороне.
По-сиротски я шел через город
верным пасынком к старой стране.
И земную житуху по Данте,
до середки дойдя, не признал,
хоть висели на школьницах банты,
хоть гудел расторопный вокзал.
Не вязалось колючее слово,
не стоял на ногах табурет –
и тогда я куртец выворачивал снова
и другим заявлялся на свет.

* * *

Согнуться в зю, не выгуляв боти-
ноктюрны этих самых не дослушав.

О Господи, нарежь на конфетти
удачей размалеванную душу,
хоть реверсом, хоть аверсом швырни
в труху Бахчисарайского безводья,
под тройку, под основу, до стерни
сруби провинциальное отродье.

Я пятился от принятых табу,
от всяких примитивных называний,
но, ставший приколоченным к столбу
колючестью новообразований,
как прежде застывал над словом Бог,
над сузившейся точкой на бумаге.

О Господи, да если бы я мог,
то выдержал бы муку моногамий,
а лучше, нахлобучивши клубок, –
шмелевскими глазами пялил в лето.
Но снова открываю ноутбук,
а там – вот это.

* * *

Это просто музыка безмолвия,
память сиротеющей воды,
словно обесцвеченная молния
валится куда-нибудь туды,
выменяв небесные владения
на тягучесть иловых валют;
это просто правильность падения
подневольной тени сразу в люк.

Это простота для непонятливых,
типа гоп-ца-ца да ай-наны.

Это просто свет, покрытый пятнами
крыльев грязных ангельской шпаны.

Это просто, просто и невесело:
иглы в ногти, к морде утюги,
будто затянувшаяся песенка
перед завыванием пурги.

Лидия ГРИГОРЬЕВА. «И тайное открылось знанье...»

* * *

Ну вот и осень наступила,
И нам на нервы наступила.
Повыше поднимай стропила,
Живи на верхнем этаже!
Ты посмотри, какая сила
Тебя над жизнью возносила,
Хотя об этом не просила
И не надеялась уже.

Ушли тревога и досада.
И после жизненного спада
Ты вышла за пределы сада,
И устремилось время вспять.
На все прорехи не взирая,
Вдруг наступила жизнь вторая.
Она пылает, не сгорая.
Огонь небесный не унять.

И вот сейчас, сентябрь итожа,
Скажи на что это похоже,
Когда от слов мороз по коже.
Сравненьям, впрочем, нет числа.
Когда от нежного касанья,
Вдруг пролилось с небес сиянье,
И тайное открылось знанье,
И в сердце радость проросла.

НОЧЬ

Я с птиц ночных беру пример,
Они ночами внемлют Богу.
Какой-то звук небесных сфер
Переполняет всю округу!

А то, что деется со мной,
Тому не нахожу я сладу.
Какой-то запах неземной
Кружится по ночному саду

И в этом тоже есть резон:
Познается большое в малом,
Когда накроет вечный сон
Всю землю звёздным покрывалом.

* * *

И с ног до головы укутана словами.
И с головы до ног.
Словесная волна возникла между нами.
Тут важен каждый слог.

Творилось вещество ещё до нашей эры!
Был важен каждый миг.
В создании любви участвовали сферы.
И воробей, что бабочку настиг...

* * *

Время уплотнилось.
Но разверзлась высь.
Это Божья милость,
Что мы с тобой нашлись.

Как мы ни пытались
Скрещивать пути,
Но всё же потерялись.
Господи, прости...

* * *

Вот любовь превратилась в миф,
А свидетель опять – сорока.
Расставаться не разлюбив,
Это как умереть до срока.

Юлия МЕЛЬНИК. Та глубина...

* * *

И вправду, кто полюбит ноябрь
С их сыростью? А я учусь не в ссоре
Быть с этим сизым, чуть печальным морем,
А то, что я вдруг хмурюсь, не смотри...
И вправду, кто полюбит немоту
Листвы, уже не до конца крылатой,
И потемневших веток узловатость,
И голос снега, слышный за версту?
А я, мой друг, возьму и полюблю,
Приноровлюсь к неласковому ветру,
И в небо, словно сшитое из фетра,
Я поплыву, подобно кораблю.
Скажу «спасибо» пасмурным глазам
Небес, «спасибо» – постоянству хвои
За то, что длюсь, что остаюсь живою,
За новый день, за осень на часах.

* * *

Как небо расставляет запятые
В своем диктанте, видишь ли, поэт?
Как шепчет ветер истины простые,
Неповторимее которых нет?
Страданье чье-то долетит до слуха,
И стихнешь, обернешься неспроста...
И сердце – как одно большое ухо,
И вечность, как открытые уста.
И вспомнит тот, кого ты пожалеешь,
Что лист шуршит, что дерево поёт,
И солнце ярче, выше и теплее
Заглянет в одиночество твоё.

* * *

Когда-нибудь и ты к груди прижмёшь,
Седое небо, что сурово с виду...
Как просто это сердце разобидеть

Такой не зимней дерзостью, как дождь.
А я пустые саночки везу
Там, в памяти, где южный снег крошится,
И многому ещё дано свершиться,
И я сильна, я всё перенесу.
Я всё перенесу лишь оттого,
Что не прочнее ёлочных игрушек
Бывает счастье, из холодных пушек
Зло мировое целится в него.
Но санки, снег и нежность – навсегда.
В том средостенье, где взросльть не надо,
Живёт неувядаемая радость
О том, что мы бессмертны, как тогда.

* * *

Из тонких кружев соткана звезда
Далёкая – так кажется отсюда...
Не из огня и не огромна будто,
Снежинка малая, крупица льда.
На расстоянии – и мы не те,
На расстоянии – и мы другие...
Сияем, как изделья дорогие,
И так тихи и странны в темноте.
Себя узнав в ночной, бессонной мгле,
Смахну пыльцу, не захочу казаться,
И сладкой, ложной песней привязаться
К тревожной, чуткой чьей-то тишине.

* * *

Как пахнет елью Новый год,
Так пахнет утро ожиданьем,
Явился с золотою данью
Берёзок царственный народ.
Берёзки – бледные княжны
Глядят с улыбкой в сердце сквера...
О, детская, простая вера,
Что мы кому-нибудь нужны...

Кому – нужны, кому – пустяк,
Все, что ещё случится с нами,
Кому-то – кажется мы снами
У этой осени в гостях...

* * *

Золотое время облетает,
Погоди ещё хотя бы миг...
Мысль неугасимая, святая,
Как закладка, выпадет из книг.
Мысль о том, что небо нынче сизо,
А не серо, как вздохнет иной,
И гуляет голубь по карнизу,
Круглый, словно шарик надувной.
Дай неспешным мыслям наиграться
В старое, привычное лото,
Ну а после можно затеряться,
Словно призрак, в комнате пустой.
Или же бреди через недели,
Оставляя в лужицах следы...
Это, брат, ноябрь... Уже поспели
В сердце все заветные плоды.

* * *

Ты пожелай мне парк осенний, как
Желают счастья, пожелай мне кроны
С которых наземь падают короны,
И чудом кажется любой пустяк.
Ты пожелай мне узкую тропу,
Где ничего не стоит заблудиться,
И миг, когда мне дома не сидится,
И с крошечным листом делить судьбу.
Ты пожелай мне неуют дождя,
Орех, который хрустнет под ногою,
А то, что я домой вернусь другою,
Спасет меня и удивит тебя.

* * *

Вот ночь, где сердце видят только звёзды,
Вот ночь – опять надела жемчуга,
И небо кажется седым и грозным,
В нем тайно зреют зимние снега.
Свечой неяркой теплится сознанье
Бессонное и капают, как воск,
Слова, которых я ещё не знаю,
Слова, которые опять всерьёз.
Свеча, свеча, заплаканная свечка,
Дари слова и тёплый свет дари...
Вдруг станет ночь холодной, бессердечной,
Когда мы перестанем говорить.
Когда, как листья, растеряем звуки,
Останется лишь голых веток звон,
И мир жестокий, взятый на поруки,
Печальным, терпеливым Божеством.

* * *

Та глубина, на которой едины все,
Где плавниками шевелят рыбы молчанья,
Та глубина, на которой, слегка печалясь,
Вижу листа увяданье, цветок в росе...
Та глубина, на которую я нырну,
Вдруг забывая движение чётких стрелок,
Та глубина, для которой порой так мелок
Жест суety... Разреши мне ту глубину...
Там в мокрых варежках – снег самых первых зим,
Не утонуть никогда кораблям бумажным...
Там – удивительно плыть, там – дышать не страшно,
Даже когда в тех морях ты совсем один.

* * *

И если отправлюсь нащупывать верные ноты,
Причуда случайная, с ритма меня не столкни,
Как с тесной тропинки... Я тихо окликну Кого-то,
Кто знает, как нужно... Лишь вспомни, лишь слёзы смахни...

Я тихо окликну, а музыка руку протянет,
Я тихо окликну, а дождь уж свое отзненел...
В пустом междустрочье собака далёкая тявкнет,
Учитель – печаль – сизый, крошечный выронит мел.
И ласточка – нота срывается с нотного стана,
Давай же, давай же звучать на Твоём языке...
Когда, как кора, отпадает привычек усталость,
Искрится и ширится мир, не открытый никем.

* * *

Не трогать слов, пока они идут
По городу печальными стадами,
И золотые листья увядают,
И их седые дворники метут.
Не трогать слов, а ткать простую ткань
Молчания, пусть кутает, пусть лечит,
И знать, что не напрасно ветер шепчет:
«Пожалуйста, пожалуйста, не рань...».
Не трогать слов, их норов часто зол,
Стань паузой, не торопись с ответом,
Не удивись, что ты наполнен светом,
Не удивись, что пуст и невесом.

* * *

Ещё одно предзимье, дождеванье,
Шаги по лужам, в тишину вживанье,
Туч сизокрылых бесконечный блюз...
Ещё одна попытка – опереться
Об ось свою, в доверие втереться
К стволам древесным. Пусть поддержат, пусть...
Ещё одно бессонное доверье
К сердечным ритмам, крови претворенье
В ритм стихотворный, в музыку, в строку...
Ещё одно кратчайшее сегодня,
И вся тоска о ели новогодней,
Которую спасла б, но не могу...
Ещё одна соломинка – держаться,

Ещё одно желанье – приближаться
К истоку жизни, к нежности, к огню...
Ещё одной травинки прорастанье
К далёким небесам, к беззвучной тайне,
Которую, увы, не сохраню...

* * *

Прохладную ладонь на лоб кладет звезда,
И все, что я могу – понять и исцелиться...
Я знаю, что просить о чем-то навсегда
Бессмысленно, и все ж, не стоит торопиться.
Весь бисер голубой на нитку нанижу,
Весь бисер голубой, который мне отпущен...
Ты – ветка, жизнь моя, где я листом дрожу,
И веток не прошу надёжнее и лучше.
И если мне шепнут, что время улетать,
Я с ветки соскользну с беспечностью ребенка...
Ты подари мне, друг, такую благодать
Коснись слегка рукой и улыбнись вдогонку.

* * *

Позволь дослушаться, позволь дождаться,
Ещё не охватила суeta...
И может лик любимый угадаться
В природы столь отзывчивых чертах.
Для каждой шишки этот мир – шкатулка,
Для каждой птицы – теплая ладонь...
Позволь спешить к тебе по переулку,
Мой новый день, и высекать огонь.
Я не кремень, но искра золотая
Родится для небесного огня...
И рыжий лист, и клён, и птичья стая
Оставлены, как дети, на меня.

* * *

На то и день, что может быть мгновеньем,
И жемчугом, и дымом голубым,

Возьми его в ладонь, найди терпенье,
Он глина, снег, он может быть любым...
Не вылеплен ещё кувшин последний,
И эта глина – словно навсегда...
Но что-то следует за зноем летним,
Не старость ли? Попробуй, угадай...
Лепи, лепи, как в детстве лепят детство,
Цветное, озорное, без прикрас...
Нам выпало забавное наследство –
Лепить, пока природа лепит нас.

Елена КОЛЕСНИКОВА. «Горит не нагорится втайне сад...»

СТРИЖИ

Устроены с библейской простотой
Весенне первосказанной, посконной –
Оправленная дымчатой водой
Земля и неба разворот просторный.

Стрижи графитным кончиком крыла
Подчеркивают утра совершенность,
И множится и тает без числа
Стремительного времени мгновенность.

Исходит невозможна юный дух
От старенькой грушовки местночтимой,
И нежит мой неуловимо слух
Травинки каждой ласковое имя...

Ты спросишь, почему кричат стрижи,
Над крышами кружка и донимая –
Они вовсю благословляют жизнь,
Дыханием своим благословляют!

Полиелей

Три осенних молитвы

1.

Высокие мечты усмирены'
И светлые пылания надежды'–
Под руку неизбежную зимы –
Нежнее и неодолимей прежних.

Ещё вдали стоят её полки,
И всё былой багровостью печалит,
Но берега зальдели у реки.
И сердце, не испевшись, замолчало,

В немой опустошённости полей,
Разголосилось вражество воронье
Но тих берёз речных полиелей,
И солнца умирание – бескровно.

И тайно стихословит листопад –
Без жара и полёта мыслей светлых,
И будто листья, согнанные с веток,
Неволясь, птицы поздние летят.

2.

День не спешит развеяться от туч –
До положенья риз дождём упившись,
Листвы скудеет зарево над крышей,
И стынет воздух – влажен и тягуч.

Горит не нагорится втайне сад –
Последний – в осень – сход единоверцев,
Здесь и моё спокойней бьётся сердце,
И мысли невесомее парят.

На ветхом дозревает чердаке
До срока с неба сорванное солнце,
И тишина медовой струйкой льётся
По веткам, шелестящим налегке.

Заиндевели – со'лоны от слёз –
Узоры ленты, выющейся до храма,
И жаль отроковичества берёз,
Увядшего в поре светлейшей самой...

3.

Листва воспоминаний за окном
Уже не блещет прежним красноречьем,
И, жизнью перечитаны давно,
Темнеют многотомники домов –
Собранье сочинений человечьих.

Но памятью горячей тиснены' –
Страниц осенних избранные главы –
Овеянные ветрами войны,
Залитые слезами тишины,
Небесной озолоченные славой.

Держась согретых солнцем стен святых,
Скользят во свет изнищенные тени...
Прими же тех, кто в свой закат последний,
Невозвратимо, жертвой неисследной,
Тебе Твоя приносит – от Твоих...

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОН

Снежных хлопьев мятое зерно
Сыпет вечер густо и отвесно.
До поры припрятано вино
Под засовы клети поднебесной.

Три избы – три сгорбленных спины –
Дым – чалмами, свернутыми ветром.
Сон смыкает веки, но видны
Оконечья посохов воздетых.

Тучи тупоносой голова
Тычется в соломенную крышу,
Где-то глухо ухнула сова,
Бубенца сквозь дрёму говор слышу...

Рождество! – пропел далёкий звон,
Я – мала, под тёплым боком печки
Вижу позабытый вещий сон
О счастливо найденной овечке...

Елена ЛИТИНСКАЯ. Времена года. *Ироническая поэзия*

Ирония – главный приём, на котором базируется поэзия Елены Литинской. Именно ирония, а не юмор, хотя юмористические стихи тоже не чужды её поэзии. Но и юмор в её стихах растёт не из смешной ситуации или шутки, а из ироничного взгляда её лирической героини на жизнь. Предлагаемая подборка адресована читателю, способному уловить иронический подтекст зачастую грустных наблюдений автора, подтекст, который тонко передан на уровне стиля, интонации и «непереводимого контекста», присущего практически каждому стихотворению Елены.

* * *

Мы нынче все упрытались в футляры.
Перчатки, маски, тёмные очки
И шляпы. Не шуты и не фигляры –
В игре за выживанье игроки.

Прохожих мы обходим стороною.
Ни «здравствуйте», ни «привет» и ни «пока».
Отделены невидимой стеной
на расстоянии ковид-плевка.

Июль, жара. «В зобу дыханье спёрло».
Так хочется, отбросив камуфляж,
Вдохнуть во всё дыхательное горло
И, как в былые дни, рвануть на пляж!

Всё то, что было попросту рутиной,
К чему привыкла так за сорок лет,
Отныне – лишь музейная картина.
И слишком дорог в тот музей билет...

* * *

На пике августовская жара.
И воздух душит всеохватной влагой,
Накатывая с самого утра.
И днём, и вечером. Лишь ночью благо –

Врываются дыханьем ветерок,

Как некогда в мансарде у дороги...
Я помню, постигали мы урок,
Когда любви нас обучали боги.

Плыёт мелодия издалека.
Я к ней по-прежнему пишу либретто
О тех ночах, что унесла река,
Перебирая в памяти портреты...

* * *

Октябрь. Увядание природы.
И вдруг – о чудо! – на моём окне,
Назло нахмуренному небосводу,
Цветёт герань, даря улыбку мне.

Ласкает розовыми лепестками
И прогоняет грусть.
Захлопну сюр Харуки Мураками
И к светлым сказкам Пушкина вернусь.

* * *

Хмурое небо. Хмурые мысли.
Солнце играет в прятки со мной.
Я молоком заливаю мюсли.
Осень в окошке за тонкой стеной.

Шторка в окне, хоть смешная преграда,
Спрячет от взгляда огромной луны,
Спрячет от гриппа, снега и града,
Спрячет от мира и от войны,

Прячусь от стрел электронного спама,
От череды телефонных звонков,
От Иафета, Сима и Хама,
От похоронных колоколов.

Прячусь от слов твоих горьких и сладких
И от осколков разбитой мечты.
Прячусь, как боль в морщинах и складках.
И не найдёшь её ты...

* * *

Ноябрь близится к концу.
Недалеко уже до снега.
Мой город, всё тебе к лицу!
Снег ляжет светлым оберегом
От темноты печальных дней
Грядущей старости моей
И, тайны прошлого храня,
К воспоминаниям меня
Влечёт без моего согласья:
Туда, где я в десятом классе,
Стражей журналов объегорив,
Себе на счастье или горе
Во храм поэзии вошла,
Хоть приглашённой не была.
С тех пор чуть более полвека
Прошло. И памятная веха
Горит неяркою звездой.
О радостной минуте той,
Когда, препонам вопреки,
Звучали робкие шаги
Моих стихов

БАЛЛАДА О СНЕГЕ

Нынче снегу намело,
Как в Москве когда-то.
Жизнь – река. В руке – весло.
Берега и даты.

Спиридоновка. В снежки
Я играю ряно.

Осужденья и смешки:
«С Толькой-хулиганом!

Позаброшено дитя!
Нет мозгов ни грамма
У родителей!», – костя́
Бабушку и маму,

Двор шумит. А я себе,
Знай, играю в детстве,
Благодарная судьбе
За свободу действий.

Шаховская. Прыг в сугроб –
Развлечение святок –
Изваляться в радость, чтоб
Ни лица, ни пяток

Не видать. Прийти домой
В неприглядном виде.
В шоке все. Вопрос немой:
«Кто тебя обидел?»

Детства срок почти истёк.
На пороге – юность.
Я лыжней лесных дорог
Высекаю руны.

Я в Измайловском лесу.
Снег растает в марте.
Но с собою пронесу
В памяти до смерти

Лёгкость снега и полёт
На ледянке с горки.
Жаль, так редко снег идёт
В городе Нью-Йорке.

ШТОРМ В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

Ветер бился о стекло,
Норовил ворваться в дом.
Ждали снега. Рассвело.
Разродился день дождём.

Так хотелось по лыжне
Прокатиться в Рождество.
Вот такое озорство
мне привиделось во сне.

Может, Санта, в стельку пьян,
Заблудился под Москвой.
Слышится метели вой
Через океан.

Лера СТУПЕНКОВА. Если в жизни что-нибудь непросто...

ЛЮБОВЬ

Любка, Любушка.
Белые рюшки, мохер, ангорка,
Летом речка, песок, а зимой – ледяная горка.

Первомай, демонстрация, вымпел, утюг, рубашка,
Стройотряд, общежитие, пары.
Любовь, Любашка.

Педсоветы. Коллеги. Тетрадки по стопкам ровно.
Выпускные, звонки, перемены.
Любовь Петровна.

Поликлиника. Выслуга. Кот. Корвалол. Соседка.
Тётя Люба.
Чеснок на газетке.
Картошка в сетках.

СТРАХ

Схватит. Взвоет. Выстрелит. Мигнёт.
Скрежет. Визг. Разбитая бутылка.
Ломит и всё ниже шею гнёт
Тяжестью свинцового затылка.
На предплечьях скользкий мокрый шёлк.
Под лопаткой – ледяное шило.
Здравствуй, страх. Я знаю, ты пришел
Чтобы я всё правильно решила.
Чтобы разозлилась, собралась,
Вырвалась из собственного ада.
Чтобы не сдала и не сдалась.
Надо жить. А надо – значит, надо.
Через грязь, зловоние и ложь
В этой темноте твоей кромешной

Надо жить. Однажды ты уйдёшь.
Ты уйдёшь. А я останусь прежней.

ВЕЧЕР В ПЛЁСЕ

Шаг за шагом, слово в слово...
Так темно внезапно, словно
Поздний вечер над рекой
Нам глаза прикрыл рукой.
Серебрится с Волги пар.
Огоньки слепящих фар
Вдали уносятся попарно.
Из большой приволжской тьмы
Залезают в луч фонарный
Пожелтевшие холмы...

ЗАКОН ТИШИНЫ

Рома, сосед этажом выше, сегодня поёт в夜里.
Дети его визжат, скачут вокруг, как бесы.
Дом его терпит. Слушает даже, кажется. Молчит.
Может быть, всем нам чуть-чуть не хватает полночных песен.
Может быть, Рома совсем в эти дни устал,
Может, даже чего-то себе перед сном накапал.
Может, поэтому к черту сегодня послал устав.
Рома – он мент, рок-музыкант и папа.
И как вот он это делает, не пойму?
Как он такое несовместимое совмещает?
Он нарушает закон тишины. Но ему
Дом почему-то это сейчас прощает.

* * *

Январь не складывался в смыслы,
Гудел бессвязной суетой
И мандарином сладко-кислым
Хотел заполнить мир пустой.
Но мир осадками плевался

И смесью снега и песка,
И в такт рождественского вальса
Он бормотал: «Тоска, тоска...»
Но мир мечтал холмы Тосканы
Сугробам русским предпочесть
И разливал тоску в стаканы,
Чтоб мандаринами заесть.

* * *

Я чищу рыб для личностного роста.
Держу за хвост, снимая чешую.
И, если в жизни что-нибудь непросто,
Я это долго разумом жую.
Я размышляю, жабры вырывая,
Пытаясь рыбу удержать рукой,
Зачем такая жизнь моя кривая
И как добиться от себя другой.
Из этого понятно, полагаю,
Как странно мне живётся на земле,
С чего я просветлённая такая
И почему я не беру филе.

* * *

Не злись на неё. Знаешь, дело ведь вовсе не в ней,
А в мире, где сложно курсором водить по экрану,
Где утром пора просыпаться мучительно рано,
ведь выспалась – или боится остаться во сне.
Ей страшно, ей странно: тебе так безоблачно спится.
А ей ничего уже целую вечность не снится.
Она в это серое утро взялась бы за спицы,
Но пальцы не держат, и петель не видят глаза.
Вздохнёт: «Ни греха тебе, старая, не умалится».
В шкафу фотографии – временем стёртые лица.
И, как на икону, на небо возьмётся молиться,
Где в сизых подпалинах мокнет дождём бирюза.
Зашаркает в кухню и чайник поставит на газ,
Ворча, что посуду вчера за собой не помыли,

Что всюду, к чему ни притронься, столетия пыли,
Что вам без нее только легче, а ей-то без вас?
И будущий муж твой уже никуда не годится,
И сколько ей можно с тобою, упрямою, биться,
И разве так трудно понять ее и измениться
И жить – по её разумению сверять каждый шаг?
Не злись. На последнем пороге легко оступиться.
Вся жизнь её – белым огнём опалённая птица.
И с ней, как со всем в этом мире, придётся проститься.
Уйдёт в никуда. А назад не окликнешь никак.

* * *

Ночь. Кузнечики стрекочут,
Вторят голосом соседи,
В небесах луны кусочек
Цвета молока и меди.
Комары молчат блаженно
Под наркозом репеллента.
Ночь: лежать и без движенья
Стыть. И слушать звуки лета.

Константин ШАКАРЯН. С красной строки

* * *

Иссякает последний приток
Обмелевшего старого года.
День январский уже недалёк –
Зарывайся, не ведая брода!

Этот год постарел на ветру
Зол и горестей невыразимых,
Сам с собою затеял игру
И в своих же запутался зимах.

Новогодний завьётся мираж,
Ожидаемый всюду и всеми,
Год, вошедший в погибельный раж,
Пересыплется в новые снеги,

Окаймит беспокойным ледком,
Полоснёт по дыханью морозом...
Жить и жить в окруженье таком –
Под реальностью, как под ножом,
И под праздником, как под наркозом.

(Из цикла «Год 2022»)

СНЕГ НОЧНОЙ

И земля правдивей и страшнее.

О. Мандельштам

Снег, идущий по диагонали,
Вертикального дождя взамен.
Наконец-то мы её нагнали,
Зиму – в ожиданье перемен.

Всё-то не морозец, а прохлада,
Всё-то не снежок – одна вода.

Как душа его приветить рада –
Снег, перевалившийся сюда!

Было вместо сказки новогодней:
С кровью перемешанная быль,
Голоса земли и преисподней –
В эхе взрывов поднятая пыль.

Это только здесь – а там, повсюду,
Он идёт давно,
за слоем слой
Засыпая боль, войну и смуту,
Черноту любую – с плеч долой.

Снег идёт, до горизонта белым
Покрывая в мире всё вокруг.
Небо лишь – чернеющим пробелом –
Ускользает из пушистых рук.

Снег идёт, идёт, идёт куда-то...
А проснёшься – лужи разлиты.
Обносилась снежная заплата,
Разошлись повязки и бинты.

Чёрным да по белому – как было:
И любовь, и смута, и война.
Небо синью светлою заплыло.
И земля по-прежнему черна.

* * *

Изнемогает ёлка от жары

На светлом празднике
всечеловечьем.

Деваться некуда от мишуры
И от игрушек защититься нечем.

От тяжести слегка накренена,
Косится на застолье то и дело
И грустно смотрит в сторону окна.
...И каждой веточкою онемела.

В лесу родилась ёлочка, росла
И выросла – квартире на потеху.
Живою хвойной музыкой текла –
И в четырёх стенах подобна эху.

А за окном – бетонные куски,
Овеянные дымкой новогодней.
...Нет горше этой праздничной тоски,
Безропотнее и бесповоротней.

В лесу родилась ёлочка... И ей
Не холодно зимой на свете белом.
Она в жару. Одна среди огней
На этом празднестве заиндевелом.

* * *

Прошлогодний, позапрошлогодний –
Старые лежат календари.
Что бумажек этих непригодней
В мире существует? Говори!

Но хранишь, как весть о чём-то важном
(За которой – радость или страх?).
Числа, дни – различные на каждом,
Сколько нестыковок на листах!

Снова не оправданы расчёты –

Заново подсчитывай теперь.
Много впереди ещё работы.
Много впереди ещё работы.
Много впереди ещё работы!

Ты – её свидетель, верь не верь.

Вот они, бумажки неживые –
Те, что не истлеют, не умрут:
Времени таблицы черновые,
Ежегодный неустанный труд.

* * *

Музыка играет из окна.
Поравняйся, проходящий мимо.
Музыка играет из окна
Испытующе-неповторимо.

Больше не услышишь никогда,
Не захватишь этого мотива.
Проквозит, как воздух и вода,
Вытечет сквозь память сиротливо.

Листик пожелтевший за плечо
Зацепился, ветреный, и – мимо.
Дождь накрапывает. Что ещё?
Музыка звучит неповторимо.

Больше не услышишь никогда...
Уноси скорей отсюда ноги.
Непогода. Воздух и вода.
Музыка струится вдоль дороги.

* * *

Г. А.

Как перед Богом тебя поцелую

В старой часовне, у самых икон.
Жизнь проживается напропалую –
Пройден заветного дня рубикон.

В пору вечернюю – в гору ночную
Нам подниматься, молитву творя.
Я ли к пространству тебя приревную?
И не ко времени ревность твоя.

Мы растворяемся в свете полночном,
Тени подлунные спящей земли.
Кто бы сумел в этом мире помочь нам
Строить мосты да тушить корабли?

Всё сожжено. И рассвет недалече.
Чист горизонт. Небеса высоки.
Снег заметает разлуки и встречи.
Жизнь обретается с красной строки.

ЗЕРКАЛЬНАЯ АЗБУКА

Я вижу в зеркале вопрос,
Он ускользает, еле видный.
Усы, пробор, излом волос –
Рассеянный, послековидный.

Чуть вытянутые глаза
И с плеч спадающие руки.
Не распознаешь ни аза
Во взгляде мыслящего буки.

Игра в слова? Ну что ж, веди,
О смысле про себя глаголя.
Судьбу свою разбереди,
Которая – и рок, и доля.

Ни добрая, ни злая весть –
Лишь отраженье полной мерой.
Добро – оно добро и есть,
Как ни живи, во что ни веруй.

Зело мудрён язык судеб,
Иже на лбу твоём писаху.
Гляди, покуда не ослеп,
В глаза сомнению и страху.

Благодари за явь и сон,
Зеркального познанья мету...
Благодарю – что отражён,
Что на вопрос ответа нету;

Что в силах, в лад календарю,
Тревогой радостною мучим,
Читать судьбу по букварю,
Иному знанью не обучен.

* * *

Нет уверенности в завтрашнем дне.
Нахожусь на перепутье с утра.
День сегодняшний, прожитый вчерне,
Поминается под грифом «вчера».

Смутный, завтрашний ещё не настал,
А сегодняшний – прошёл, да не весь.
Просто я его ещё не заспал,
Вот и чудится, что он где-то здесь.

Подступает осторожный рассвет,
Намечается за темью едва.
Проживаю одновременно (бред!)

То ль один какой-то день, то ли два.

Назревает распорядок земной.

Уж какой ты там ни был и ни есть,
День сегодняшний, останься со мной!
Что нам завтрашний готовит – бог весть...

Есть в подобных опасеньях резон.
Кто от жизни застрахует меня?
Но не выдержу – и выскользну в сон
До сегодняшнего нового дня...

Встаёшь на молитву, а мысли – вразброс,
Как прежде – о том ли, об этом...
(Безмолвный Всеявышнему задал вопрос
И вновь разминулся с ответом.)

А ночь на исходе. Уже голоса
Рассветные пробуют птицы,
Светлей и светлей за окном небеса.
И всё обретает границы.

И комнатой снова
застигнут врасплох,
Натягиваешь одеяло,
И сонный за выдохом следует вдох.
(Пространства ли, времени мало?)

Недолги на свете часы темноты,
Глухого ночных простора,
Где небо с землёю – черны и чисты,
Какими предстанут нескоро.

Где нет никого – на корме, у руля,
И мачты судьбы – ни единой.
Где кажется движущаяся земля
Плытвущей по воздуху льдиной.

Где замерло время – рекой подо льдом,
Покуда легко и бесстрастно,
Обжив обретаемый заново дом,
Свершает молитву пространство...

* * *

Поэзия выходит из орбит
Не то планетами, не то глазами.
Поэзия скорбит и голосит
На всех наречьях всеми голосами.
Поэзия расходится во тьме
Предвестием слепящего мгновенья.
Поэзия уходит по воде
В сказания, легенды и поверья.
Поэзия находит пьедестал,
Чтобы, задев едва его стопою,
Сойти в счастливейшее из зеркал,
Где утром отразимся мы с тобою...

СКВОЗЬ СОН

1

Птиц ритмический посвист, считающий стопы,
Прозвучавший под утро под самым окном,
Мне подсказывал что-то, наказывал, чтобы
Не смыло мелодию сном.

Я не сплю. Только вслушиваюсь в эти гаммы.
Чистит горлышко музыка вновь поутру.
И расходятся ритмы по утру кругами:

Всё по кругу, по кругу, по кру...

2

Впечатления теснят усталость.
Сна уже, как видно, не осталось
ни в одном глазу. И поделом.
Сколько гула трачено и пыла!
Вновь режим – уже почти что было
восстановленный – идёт на слом.

Вновь не спать. Воспоминаний нити
из клубка распутывать подолгу
и вдевать в острийшую иголку
совести: колись, душа, колись!..

.....
.....

Впечатлений тяготу и смуту
(сбыту ей не быть, а также – сдуть)
в ступе слова досветла толочь.
Протащить по всем путям-каналам
памяти – и до смерти усталым
провалиться в брезжущую ночь.

День ночует, ночь ли рассветает –
кто на белом свете отгадает,
если свет пока ещё не бел,
если часовыми поясами
стянута земля под небесами,
и петляет, зыблется предел?..

СОНЕТ

E. Бершину

Я не люблю сонетов, от которых

Сонетом отдаёт – давным-давно
В ритмических и рифменных повторах
Течение стиха предрешено.

Водичка формы. Отсыревший порох.
За дублем дубль снимается кино.
Слова, живущие в мечтах и спорах,
В шеренгу формы выстроены,

но

Порою в повторении созвучий
Сверкнёт внезапно смысла бег летучий,
Прорежется движение в строке,

Запенится разбуженная форма,
И взмоет в ней, темнея вдалеке,
Пространство для молитвы и для шторма.

P.S.

Ничего – из того, что хотелось,
Ожидалось, мечталось, звалось.
То решительность, то мягкотелость.
То – навыворот, то – на авось.

Ничего – из того, что мечталось...
А мечталось ли, право, о чём?
Слишком многое не отстоялось,
Оказалось навек ни при чём.

Ничего – из того, что кричало,
Пробивая пути средь помех...
Всё – о чём и не знал поначалу,
Всё – помимо тебя и поверх.

Ничего – из того, что знобило,
Горячило, мтило да жгло...

Всё, что кем-то задумано было.
Всё, что было случиться должно.

ПРОЗА

Андрей КОЗЫРЕВ. Камень, ножницы, бумага. *Главы из романа*

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

В октябре в городском ДК проходил литературный конкурс, приуроченный к столетнему юбилею местного поэта-народника. Стихов юбиляра никто не помнил, но его имя было известно всем – в честь него были названы центральная библиотека, музей и дом культуры. Мама чуть ли не силком притащила Алёшу на этот конкурс. Раньше он никогда не читал своих стихов перед публикой, впервые выступать на сцене было боязно. Алексей решил, что, если у него ничего не получится, он бросит поэзию и будет пробовать себя в другом. Может быть, в живописи.

День конкурса был серый, дождливый. Улицы были покрыты грязью. Алёша с мамой с трудом нашли путь к спрятанному среди хрущёвок Дому культуры, построенному лет двадцать назад. Он был похож на космический корабль или базу инопланетян – типичный позднесоветский авангард. Один из многих шедевров, построенных специально для того, чтобы сдать досрочно и сразу забросить.

Внутри дома-корабля было неуютно. Мраморные плиты на полу были основательно заляпаны, панно на стенах грязны. Лепнина на потолке успела частично осыпаться. Гардеробщица с усталым выражением лица приняла у гостей верхнюю одежду, многие участники конкурса не получили номерков и без объяснений были посланы в актовый зал. В зале ещё вовсю велась подготовка к празднику. По сцене бегали работники ДК, прикрепляли к занавесу воздушные шарики, расставляли декорации (стенды с книгами и большим портретом юбиляра в цветастой рамочке), настраивали аппаратуру.

Актовый зал был тесно уставлен столами для банкета, на картонных тарелочках лежали нарезанные сыр и колбаса, в пластиковые стаканчики был налит раскалённый чай. Алёша попробовал чай, обжёг губы и отодвинул угощение в сторону. Он с детства не выносил горячих напитков и вообще горячей пищи, чай пил всегда холодный и с большим количеством сахара.

Пока участники рассаживались по местам, на сцене установили микрофон. Высокая девушка в узкой чёрной юбке подошла к микрофону и продекламировала, по-видимому, первые вспомнившиеся ей слова: «О подвигах, о доблести, о славе я забывал на горестной земле...» Весь зал услышал эти строки. Микрофон работал хорошо.

– Да, когда будешь выступать, подходи близко к микрофону, а то никто не услышит, – шепнула Алёша мама.

Задумавшемуся о чём-то своём Алексею послышалось: «НЕ подходи близко к микрофону». «Да, конечно», – угрюмо кивнул он. Наверное, так надо, чтобы не было помех.

Конкурс начался. Ведущая – эффектная блондинка в кружевной блузке, актриса ТЮЗа – в качестве приветствия прочитала «Заповедь» Киплинга. Раньше Алёша не слышал этих стихов, по крайней мере, не обращал внимания. А сейчас он сразу запомнил наизусть отдельные строфы. Через много лет он мог в любой момент повторить их:

*Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;*

*Умей поставить в яростной надежде
На карту всё, что накопил с трудом,
И проиграть, и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;*

*Умей заставить сердце, нервы, тело
Служить тебе, когда в твоей груди
Давно уже всё пусто, всё сгорело,
И только Воля говорит: «Иди»...*

*Напомни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег –
Тогда весь мир ты примеши во владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!*

После этого в течение двух часов участники выходили на сцену и декламировали стихи – ярко, подчёркнуто театрально, акцентируя каждое слово. Алексей выходил предпоследним. По маминому совету он встал подальше от микрофона, помехи же никому не нужны, и пробубнил под нос свои стихи. Зал недоумённо молчал. Было видно, что ни зрители, ни жюри не только не поняли, но и не услышали, что прочитал Алёша. Не рассуждая, в стихийном порыве, как его дед, бросавшийся на амбразуру в 41-м, Темников прочитал второе стихотворение, потом третье. Читать можно было только по одному стихотворению, но терять было уже нечего. После третьего стихотворения, описывавшего свинцовый рассвет над городом, даже прозвучали жидкие аплодисменты.

После четвертого стихотворения по гулу в зале поэт почувствовал, что читать больше не надо. Почти звериный инстинкт, подсказывавший, когда надо выйти вперёд, а когда – затаиться, никогда его не подводил. Алексей задумчиво сошёл со сцены, но не с той стороны, с которой заходили предыдущие участники, а с другой, там, где сидело жюри. Как-то случайно перепутал. Увидев в двух шагах от себя столик с людьми, от которых зависела его судьба, Алёша быстро подскочил к нему и положил перед судьями стопку машинописных листов со стихами. «Мои стихи лучше читать, чем слушать… – глухо, но громко прогудел он. – Э-э-э… У меня, кстати, сегодня день рождения».

Возглавлявшая жюри пятидесятилетняя поэтесса в очках и чёрном жакете недовольно поморщилась. Сидевший рядом с ней коренастый густобровый мужичок – известный песенник – кивнул и улыбнулся: «Молодец!» На душе у Алёши стало спокойнее. Всё предвещало, что его удалят с конкурса, но он почему-то почувствовал себя победителем, хотя бы моральным. Инстинкт подсказывал, что всё идёт как надо.

После Темникова выступала только одна конкурсантка, худосочная белобрысая студентка. Её уже никто не слушал. Актриса из ТЮЗа с пафосом зачитала плохо зарифмованные стихи с пожеланиями блестящего будущего и объявила, что жюри уходит на совещание, а пока перед конкурсантами выступит самодеятельный ансамбль «Лига».

Участники конкурса расселись за столиками и набросились на угощение. Три девчонки в славянских вышитых рубашках и юбках выскочили на сцену и начали щелкать пальцами в воздухе. Судя по всему, они хотели исполнить песню «Всё, что в жизни есть у меня», но сидевший за ними меланхоличный гитарист почему-то заиграл другую мелодию.

Девушкам пришлось перестроиться и спеть «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Получилось довольно лирично.

Алёша сидел, по глоточку отпивая остывший чай. Настроение у него было угрюмое, но спокойное. Когда он потянулся к пластмассовой тарелочке, чтобы нацепить на вилку срезок колбасы, сидевшая напротив полненькая брюнетка, расширив глаза, громко шепнула: «Всё будет хорошо, только не волнуйся. Всё спокойно, всё спокойно!» Алексея это позабавило.

Наконец жюри вышло на сцену и объявило имена победителей. Последним был назван Темников – он стал лауреатом в номинации «Творческая самобытность». Брюнетка не получила ничего, хотя её стихи на слух показались Алёше неплохими. Впрочем, её это не расстроило.

Темников чувствовал себя опустошённым, словно выдернутым из розетки, как всегда после крупной победы. Он знал, что это состояние продлится недолго, через полчаса-час он снова научится чувствовать и отпразднует свой успех. Разумеется, дома, в одиночестве. Как обычно, купит кекс и шоколадку, включит магнитофон, будет слушать Чайковского, читать хорошие стихи и пить холодный чай с тремя ложками сахара.

ДРЕВНЕЙШАЯ ИЗ ПРОФЕССИЙ

Учитель – древнейшая профессия человечества. Как только человек начал говорить, он принялся поучать ближних. И делает это до сих пор – с переменным успехом.

Как и другие древние профессии, работа учителя неблагодарна, опасна и трудна. Само собой, Алексею она тоже давалась нелегко. Ему доверили руководить одним из самых непокорных и невоспитанных классов школы. К своим ученикам – будущим пэтэушникам, слесарям, строителям, а может, и зэкам – он относился с омерзением, как к породе зверей, не поддающихся дрессировке. Подростки – нервные, юркие, с безошибочным, как у хорька, чутьём – платили ему тем же.

Сначала Темников пытался игнорировать их, но со временем это становилось все труднее и труднее, пока однажды не случилось то, что Алексей позже назвал «Большим Срывом».

На дворе тогда стояла обычная сентябрьская слякоть. Небо курчавилось грязными облаками. Серый осенний свет медленно

растекался над домами, заглядывал в окна, нигде, по-видимому, не находя ничего достойного внимания. Темников шёл на работу с потаенной тяжестью на душе, словно ожидая чего-то неприятного. И действительно, войдя в класс, он обнаружил на доске написанное большими корявыми буквами слово: «КРАНТЫ!» – и карикатуру, в которой явственно узнал себя. Тонкий чернявый человечек с треугольным лицом стоял, вытянувшись в струнку, и дрожал, свирепо вращая глазами, а под его ногами была нарисована большая лужа.

Школьники сидели за партами, молча переглядываясь и пряча улыбки.

– Кто это сделал? – тихо спросил Темников.

Класс безмолвствовал.

– Кто это написал, второй раз говорю! В третий повторять не буду... – Алексей попытался произнести эти слова максимально грозно, но в конце фразы его голос словно лопнул, как воздушный шарик, и дети только сильнее захихикали.

– Всему классу ставлю два за поведение! – разъяренно прокричал учитель.

– А за что? Может, это кто из другого класса написал... Мы ни при чём! – нарочито пискляво проговорил сидевший на «камчатке» хулиган Сысоев. Его брови двигались, словно подтанцовывая словам. Глаза лукаво лучезарили. Прыщей на лице мальчишки, казалось, было больше, чем самого лица.

Темников промолчал и медленно повернулся к классу спиной, чтобы стереть надпись и рисунок. В спину угодил комочек жёваной бумаги. Алексей вздрогнул и съёжился. От взглядов насмешливых глаз десятков детей его спина сгорбилась, как от груза. Он чувствовал себя связанным нитями чужих ненавидящих взоров... И молчал, дрожа от злости, склокоженный, гадкий, жалкий, противный самому себе.

И тут раздался хохот. Взрывной хохот, опьяняющий, крепкий, как спирт. Смеялись все – мальчишки и девчонки, двоечники и отличники. Смех, громкий, наглый, издевательский, нарастал, как пахнущий гнилью рыжий осенний ветер, и бил Темникову в лицо, в глаза. Смех сыпался, как песок, лез в глаза и за шиворот; от него хотелось чесаться. У Алексея на миг выступили слёзы, а затем он неожиданно для себя самого расхохотался. Словно всё то напряжение, что накопилось в нем за месяцы работы, вырывалось из него с этим хохотом.

– Надоело. Надоело, – повторял он, сотрясаясь от смеха и вытирая слёзы, и его слова шелестели, как жухлая листва, разметаемая башмаками.

Комочки бумаги вылетали из авторучек школьников и летели ему в лицо один за другим – класс обстреливал учителя, не прячась. Классики русской литературы висели на стенах, боязливо переглядываясь, по-видимому, опасаясь сказать хоть слово среди наступившего гама.

Алексей схватил с пола один из комков, бросил в Сысоева, толстое лицо которого от возбуждения покраснело и уподобилось лопнувшему футбольному мячу, и выбежал из класса, из коридора, из школы... прочь, прочь. Ни работать, ни находиться, ни дышать здесь не хотелось... никогда... никогда!

Рябой осенний воздух дрожал перед глазами Алексея. Мелкий крапчатый дождь щекотал кожу. Волосы, разметанные ветром, напоминали развороченное гнездо. Ветер завывал, словно задавая спросонок какие-то невнятные вопросы, на которые не ждал ответа. Алексей бежал... Наконец, запыхавшись, он сел на скамейку в парке – прямо напротив школы – и попытался отдохнуть. Решение уволиться окончательно созрело в нём.

«А что, – думал он, – не так уж это и страшно. Денег всё равно не хватало... лишнюю обузу с плеч долой... так и легче, и свободнее будет. Литературные заработки тоже надо учесть. Может, в журнал устроюсь работать... И будет у меня не жизнь, а свободный полёт. Как во всей стране... свобода, одна свобода... и ничего больше!.. Хорошо!» – Алексей даже крякнул, произнося про себя последнее слово.

От перенесенной боли на душе становилось легко и пусто. Жизнь начиналась заново, с неприкаянности, с одиночества, с рыжего ветра, режущего глаза.

Со скамейки было видно, как орава школьников, оставшихся без руководства, выбегает из школы, горланя нелепые песни. Но Алексею было все равно. Он начинал новую жизнь. Новую. А всё прежнее – прошло, рассеялось, миновало навсегда.

.....

Наутро пришло известие, что пьяные свободой пацаны из класса Темникова, сбежав из школы, тайно убили бомжа, просто так, «чтобы испытать ощущения». Тело бомжа, избитое и обезображенное, наполовину обугленное, нашли в парке через дорогу от школы. Рядом с телом валялась

потерянная одним из убийц школьная тетрадка, на которой среди пятен крови проступали имя и фамилия владельца: Егор Сысоев. На одном из грязных листков было нарисовано пронзённое стрелой сердце.

Следствие быстро установило виновников убийства. Школьники, разумеется, были отправлены в колонию. Алексей формально не был признан ответственным за случившееся, но использовал этот случай как повод уволиться с работы. «Не могу людей учить. Самому учиться надо», – так объяснял он свой шаг друзьям.

Жизнь лежала впереди, огромная и просторная.

Но идти было некуда.

Борис КУНИН. Вкус воздуха. *Рассказ*

Мартин медленно шел по набережной Бинца. Он, как говорится, с первого взгляда влюбился в этот курортный городок на берегу Балтики, на острове Рюген. Влюбился, и вот уже второй десяток лет проводил отпуск исключительно здесь. Недешевое, надо заметить, удовольствие: Турция или даже Майорка могли обойтись за то же время существенно дешевле. Но, честное слово, оно того стоило!

Тем более, что Мартин к своим тридцати четырем занимал довольно высокий пост в крупной международной компании и, в принципе, мог позволить себе и куда более дорогой отдых. А на что еще, собственно, тратить деньги? Дом достался в наследство от дедушки, обут-одет во все фирменное, очередной «Opel» куплен только год назад, жены и детей нет... Даже кошки или собаки. Мартин очень любил животных, но они ведь требуют внимания и времени. А последнего катастрофически не хватало на что-то другое, кроме работы. Плюс еще, пусть и не очень частые, но длительные командировки.

Постоянно просить родителей? Так они тоже работают, да и кошка у них своя есть. Эту своюенравную рыжую красавицу зовут Мара. В переводе с белорусского – «мечта». Папина. Потому что мама к ней относится равнодушно. По ее собственным словам. В общем, когда выпадает свободная минутка, можно зайти и с Марой пообщаться. Заодно и родителей проведать. Благо, что живут они через две улицы: пешком минут десять.

Внезапно Мартин почувствовал на себе чей-то взгляд и остановился, недоуменно оглядываясь. По набережной в обе стороны неспеша фланировали отыскающие, которым точно не было дела до всех остальных вокруг. К тому же значительную часть их составляли люди явно пенсионного возраста, излишним любопытством уже давно не страдавшие. И все же на Мартина кто-то пристально смотрел.

Мысленно махнув рукой, показалось мол, Мартин уже собрался продолжить дальше свою ежедневную утреннюю прогулку, когда услышал тихое поскрипывание. Возле скамейки, в нескольких метрах позади него, сидела грустная французская болонка. А он прошел практически рядом и даже ее не заметил. Как, впрочем, и все остальные: как люди, так и собаки. Последние, к слову, не обращали на маленькую «блондинку» никакого внимания: как будто ее там и не было.

Когда-то, еще будучи студентом Ганноверского университета, Мартин серьезно интересовался породами собак и их особенностями, и сейчас в памяти всплыло, что правильно было называть эту породу Бишон фризе. И что «бишон», в переводе с французского, вроде бы означает «бархатная подушечка». Вот только в данном случае эта информация помочь ничем не могла. Потому как хозяина или хозяйки поблизости явно не наблюдалось, а собачка выглядела грустной и очень одинокой.

Понятно, что болонка не была бездомной: в Германии это в принципе исключено, но куда тогда делась ее хозяйка? После недолгого размышления Мартин решил, что это должна быть женщина. И совсем не пенсионного возраста. Почему? Просто ему так хотелось.

Впрочем, в пользу этой версии говорили и некоторые детали. Ошейник определенно был не из самых дешевых, да служил скорее украшением. Как и жетон в форме бабочки, прикрепленный к нему. А завершал картину кокетливый бантик на макушке. Тоже, к слову, купленный не на распродаже.

Мартин задумчиво присел на скамейку. Болонка моментально подбежала к его ногам, села и, подняв голову, просияще посмотрела в глаза мужчине. Словно хотела что-то рассказать, но не могла.

– И что мне с тобой делать? – Мартин машинально почесал собачку за ухом. – Где твоя хозяйка? Она ведь не могла от тебя убежать или потеряться. Значит, это ты потерялась?

При последних словах болонка неожиданно низко опустила голову и заскулила. Почти что заплакала.

– Вот оно что! – обрадовался Мартин. – Ну, тогда давай вместе искать твою хозяйку. А что это у тебя на жетоне написано?

Наверное, услышав знакомое слово, собачка встала на задние лапы, оперлась передними об колено и максимально задрала голову вверх: дескать, смотри, что там написано.

– Ну, ты и умница! – мужчина подхватил болонку на руки. – Сейчас узнаю, как же тебя зовут.

Красивым готическим шрифтом на жетоне было написано «Anatola», а ниже – номер мобильного телефона.

– Ну и имечко у тебя, дорогая! Язык можно сломать с непривычки. Ничего, сейчас позвоним хозяйке, и все твои проблемы закончатся.

Увы, на звонок никто не ответил. Более того, бесстрастный механический голос сообщил, что «телефон отключен, либо находится вне зоны доступа».

– Вон оно как! – теперь погрустнел уже и Мартин. – И как это прикажете понимать?

За эти несколько минут собачка умудрилась удобно устроиться на руках у мужчины, всем своим видом показывая, что теперь у нее все хорошо.

– Ага, я так понимаю, что ты уже со всем определилась? – вопрос, естественно, был риторическим. – В крайнем случае, на ближайшие часы или дни, пока я не дозвонюсь твоей хозяйке. Ладно, пошли! Только по дороге заскочим в Rossmann: надо же тебе мисочки и какой-нибудь еды купить.

Мартин аккуратно поставил собаку на землю.

– Да, и звать я тебя буду Ани. Так проще и короче. И я когда-то давно пробовал армянский бренди с таким названием. Было очень вкусно.

Болонка все это время внимательно прислушивалась к голосу мужчины, слегка склонив набок кудрявую голову. Но стоило Мартину двинуться с места, как Анатола, точнее – уже Ани, бодро засеменила рядом, время от времени тихо повизгивая от избытка чувств.

В номере гостиницы Ани безропотно и даже с видимым удовольствием съела все, что ей купил Мартин, попила воды и на слегка подгибающихся лапах добрела до своей новой лежанки возле балконной двери. На которой почти мгновенно и заснула.

Естественно, гостиничная администрация не возражала против новой постоялицы, хотя заплатить некоторую сумму за ее появление, разумеется, пришлось. Пока за три ближайших дня: Мартин не без оснований надеялся, что за это время телефон хозяйки все-таки появится в сети.

И именно на третий день молодой, но какой-то болезненный, что ли, женский голос наконец-то ответил: «Hallo».

– Здравствуйте, – нескованно обрадовался мужчина. – Меня зовут Мартин, и у меня в номере вот уже третий день живет ваша Анатола. Это ведь ваша собака?

– Да, конечно! – обрадовалась женщина. – Как замечательно, что она не потерялась. Я уже, Бог знает, что передумала. Когда пришла в себя...

– Простите!?

— Мы гуляли с Ани по набережной, когда я неожиданно подвернула ногу и, падая, сильно ударила головой. И потеряла сознание... Почти на трое суток...

Было слышно, что женщина еще трудно много говорить, но после минутной паузы она продолжила свой рассказ.

— А Ани у меня всегда гуляет без поводка: она очень спокойная, послушная и воспитанная девочка. Я не могу вспомнить, где она была в тот момент: то ли слегка отстала, то ли, наоборот, немножко убежала вперед. В общем, когда меня увозили в больницу, никто даже не мог подумать, что я была на прогулке не одна. А Ани... Может, испугалась машины с сиреной. А, может, и крутилась где-то рядом, но сказать-то ничего не могла.

— Она просто сидела возле скамейки и тихо скулила.

— Недалеко от ресторана «Fischmarkt»?

— Кажется, — Мартин на мгновение задумался. — Да! Точно — да!

— Ах, ты моя умница! — голос женщины с каждой минутой становился бодрее. — Она, наверное, собиралась меня ждать там, где потеряла.

— Наверное, — Мартин, впрочем, был в этом не очень уверен. — Но ко мне на руки она запрыгнула моментально, стоило мне только сесть на скамейку и заговорить с ней. Правда, сначала предъявила свою бабочку... Жетон, то есть.

— Странно! Обычно она к незнакомцам, скажем так, относится без агрессии, но настороженно.

— Ну, извините! — Мартин брякнул первое, что на ум пришло.

— Да, что вы! — женщина явно смущилась. — Большое вам спасибо за Ани! А вам не очень трудно будем с ней ко мне приехать? Мне еще минимум дня три придется в больнице пролежать.

— А вы в какой клинике?

— Так в Sana-Krankenhaus, это в Бергене. Знаете?

— Клинику — нет, но навигатор доведет, — улыбнулся Мартин. — А вас, вообще, как зовут?

— Ой!.. Меня Николь зовут. Но, лучше — Ники. Мне так привычней.

— Вот и познакомились, Ники! Сегодня уже, наверное, поздновато для дальних поездок, а завтра в первой половине дня ждите гостей.

— Замечательно! — обрадовалась Николь. — Вы как подъедете, позвоните мне. Я выйду во двор: это мне уже можно. Если осторожно и недалеко.

Еще на подъезде к Бергену Мартин поймал себя на мысли, что необъяснимо волнуется. Причем – сильно. Казалось бы, почему? Ну, отвезет Ани на встречу с хозяйкой. Наверное, поговорят с ней на «собачьи» темы. Потом понянчит пушистую красотку еще несколько дней, передаст Николь с рук на руки. И со временем забудет об этом эпизоде. Казалось бы, все логично. Но, почему-то Мартину казалось, что эта встреча не пройдет для него бесследно.

Его же мохнатую спутницу подобные душевые терзания, похоже, не беспокоили. Еще на парковке у отеля, как только Мартин открыл дверцу машины, Ани, как само собой разумеющееся, заняла правое переднее сидение и все дорогу беспрерывно крутила кудрявой головкой, провожая взглядом все встречные автомобили. А во дворе больницы, едва спрыгнув на тротуар, несколько мгновений принюхалась и с радостным лаем со всех лап рванула за довольно высокую стену кустов, моментально исчезнув из поля зрения.

Мартин, который как раз собирался звонить Николь, решил сначала найти беглянку. И нашел! За кустами оказались несколько скамеек, на одной из которых сидела стройная женщина с забинтованной головой. А у ее ног просто выпрыгивала из шкуры от радости Анатола. Увидев подходящего Мартина, она на мгновение метнулась к нему, мимолетно ткнулась лбом в ногу, и опять вернулась к любимой хозяйке.

– Здравствуйте, Ники, – облегченно улыбнулся Мартин. – А я уже начал беспокоиться, куда это так рванула Ани. Я ведь еще не успел даже вам позвонить.

– Здравствуйте, Мартин, – улыбнулась в ответ женщина. – Я просто примерно подсчитала, когда вы должны приехать, и вышла пораньше. Погода же чудесная, да и быть постоянно в четырех стенах, честно говоря, утомительно. Что же до «побега» Ани, то собачий нос ведь не сравнить с человеческим.

Они проговорили что-то около двух часов, пока не пришло время Николь идти на перевязку, а потом обедать. Мартин узнал, что столь необычное имя собаки – с одной стороны требования заводчиков: она все-таки очень породистая. А с другой, Анатола в переводе с латинского означает «восток» или «восход солнца». Еще выяснилось, что родители Николь несколько лет назад погибли в автокатастрофе, а она только по счастливой случайности не оказалась в том же автомобиле. Ани живет с ней уже третий год и каждый день ездит с хозяйкой на работу. На фирме

по производству металлорежущих станков, где Николь работает начальником отдела кадров, это скорее норма, чем исключение: собачников и собачниц в головном офисе практически каждый второй. Но все живут дружно: и люди, и собаки.

Мартин с Ани приезжали в клинику еще дважды. А на третий день Николь наконец-то выписали. Мартин отвез их в отель забрать вещи, а потом проводил на поезд. Так получилось, что все эти дни они говорили о многом, но не о том, что хотелось Мартину с того самого момента, когда он впервые увидел Ники с забинтованной головой. Кстати, когда сняли бинты, оказалось, что у Николь – короткая, почти мальчишеская стрижка. И, вообще, она очень привлекательная женщина. Вот только стеснительная еще больше, чем Мартин. Там, где обоим следовало бы быть немного решительнее.

Мартин машинально помахал рукой вслед уходящему поезду и неожиданно хитро улыбнулся: «*У меня ведь остался номер ее телефона*».

* * * *

Четыре года спустя Мартин опять прогуливался по набережной так любимого им Бинца. Только теперь он шел, крепко держа за руку свою Ники. Нет, он не боялся, что она исчезнет из его жизни, а вот споткнуться и подвернуть ногу может запросто. А оно им надо? Ведь впереди гордо шагала трехлетняя Анабель, ведя на поводке до нельзя счастливую Ани: ведь у нее уже который год была своя большая семья.

– Послушай, Мартин, ты мне так ни разу и не рассказал, почему так влюблен в Бинц? Я здесь второй раз, мне все очень нравится, но ты же просто помолодел на несколько лет, когда мы вышли из машины на гостиничной парковке.

– Помолодел? – Мартин нежно обнял жену. – Возможно. Меня сюда первый раз привезли родители, еще школьником. И я с первых минут влюбился не столько в сам Бинц (хотя и это тоже), сколько в здешний воздух. У него какой-то особый вкус: смесь моря и хвои. И такого я больше нигде не встречал.

Татьяна ОКОМЕНЮК. Космическая любовь, или Видеодневник жены астронавта

15. 09. 2043

Макс, дорогой, здравствуй!

Ты еще на Земле, а я уже записываю тебе свои послания. Пока что – в свой видеодневник. Не понимаю, чем вашей «подготовительной программе» помешали бы «контакты с родными» раз в три месяца. Нам ваше руководство, конечно, разъяснило, что это – эксперимент по выживанию в условиях, сходных с полетом на Марс. Что вы целый год проведете в полной изоляции от внешнего мира в прототипе модуля марсианского корабля, находящегося на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах. Что вас там будут обучать жизни в состоянии невесомости, работе с оборудованием комплекса, правильному поведению в критические моменты. Что условия эксперимента будут жесткими: теснота, голод, аварийные ситуации. Что психологи будут провоцировать экипаж на конфликты...

Но я все равно не понимаю: чем помешал бы вам контакт с женами по видеосвязи. Все-все, прекращаю. Я помню, что ты себе не принадлежишь, что я – жена астронавта и обещала терпеть и ждать. Я так и делаю. А, чтобы терпелось легче, буду иногда записывать для тебя свои видеописьма. Надеюсь, когда снимут карантин, ты просмотришь их все сразу.

Если бы ты только знал, как я по тебе скучаю. Твоя земная жена Анна.

15. 10. 2043

Здравствуй, мой любимый!

Этот уикенд я провела в гостях у твоих родителей. У них все в порядке. Филипп – такой же неугомонный, как всегда. Ни за что не дашь ему семидесяти: гоняет на своем Форде, играет в гольф и бильярд, ругается с соседом из-за шума газонокосилки, которая будит его по утрам. София с ним постоянно дискутирует из-за виски, к которому он то и дело прикладывается, но Филипп в этом вопросе непоколебим. Он считает, что

пожилые люди просто обязаны быть пьющими, потому что никаких других радостей в их возрасте уже нет.

Недавно у них были телерепортеры, взяли твои детские видео и фотографии для будущего фильма о первопроходцах Марса. Сказали, что готовят материал обо всей шестерке претендентов, поскольку руководство экспедиции «Марс-экспресс» еще не решило, какая тройка будет основным составом, а какая – дублерами. Судя по инсайдерской информации репортерского источника, шансов у вас с Дэвидом и Алексом несколько больше, чем у остальных.

Филипп говорит, что чуйка отставного копа подсказывает ему: первооткрывателями Марса будете именно вы. Он очень гордится тобой. София же украдкой молится, чтобы ты остался на Земле, ведь еще ни одна космическая экспедиция не длилась целое десятилетие. Если честно, я, как и София, молюсь о том, чтобы ты попал в дублеры.

Люблю, скучаю. Твоя Эн.

30. 11. 2043

Здравствуй, Макс!

С прошедшим тебя праздником – Днем Благодарения. Его мы отмечали у твоих. Приезжала моя мама, Том с Ванессой и их гномик Роб. Мы были на торжественной службе в церкви, участвовали в костюмированном параде, потом лакомились жареной индейкой. Все мы благодарили судьбу за то хорошее, что случилось в нашей жизни. Лично я благодарила ее за встречу с тобой. Когда мы подняли бокалы, чтобы выпить за твой успех, в «Новостях» как раз передали, что тестирование на психологическую совместимость вся шестерка прошла успешно.

Очень рада за вас. Это куда важнее, чем совместимость с женами. От меня ты можешь уйти... в другую комнату или... к другой женщине, а от напарника удрать некуда. Разве только в открытый космос. Шучу! Наша с тобой совместимость проверена годами, ведь нас еще в детском саду дразнили женихом и невестой. Ты тогда говорил, что обязательно станешь астронавтом, а я заявляла, что буду работать женой астронавта. Взрослые хотели до колик. А мы ведь говорили правду.

Уверена, что все испытания вы с ребятами пройдете успешно.

Люблю тебя. Твоя я.

1. 01. 2044

Ну, вот и наступил первый день Нового года! С праздником тебя, любимый! У меня для тебя – сногсшибательная новость: у нас будет ребенок. Мальчик!

Не могу тебе передать всех чувств, которые сейчас бурлят во мне. Ты только представь: мы с тобой будем родителями!!! Будем кого-то кормить, учить уму-разуму, наказывать, гундеть о несносности подрастающего поколения...

Твои – в диком восторге. По этому поводу София закатила пир с ее фирменным вишневым пирогом. Даже индейку нафаршировала, как в День Благодарения. Филипп на радостях здорово напился, а потом плакал, просматривая видеофильм нашего с тобой венчания. Когда Софии не было в комнате, сказал мне, что боится тебя потерять. Ему кажется, что он тебя больше никогда не обнимет. Я его успокоила и уложила спать.

Просила майора Миллера сообщить тебе о моей беременности. Отказал, мотивируя тем, что надо избегать любой информации, которая может взбудоражить будущего астронавта, отправив псу под хвост все усилия по стабилизации его нервной системы. Мол, сообщать подобные новости нужно по свершившемуся факту, а пока незачем тебе переживать о том, как я себя чувствую. Возможно, они и правы: помочь мне чем-то оттуда ты все равно не сможешь, будешь только зря волноваться.

В сегодняшних «Новостях» рассказывали, что ваш эксперимент максимально приближен к реально пилотируемому полету на Марс. Что вы уже отработали взаимодействие «человек – окружающая среда» и технологию медицинской помощи друг другу в экстремальных условиях.

Очень рада за вас. Люблю, скучаю. Твоя Эн.

18. 04. 2044

Здравствуй, милый!

Наконец-то ваше руководство определились с основным составом. Филипп оказался прав: летит ваша тройка. Сегодня об этом весь день говорят по радио и телевидению. Даже не знаю: рада я или огорчена. Знаю: ты очень этого хотел, долго к этому шел, тщательно готовился. Я должна тебя поддержать, но на душе у меня скребут кошки. Ведь перед твоим отлетом на Красную планету мы увидимся всего один раз, да и то

по видеосвязи. Почти, как в тюрьме. Ни обнять, ни поцеловать, ни по щеке погладить. Да и выгляжу я сейчас далеко не лучшим образом: сильно набрала в весе, не влезаю ни в одну приличную вещь, еще и спина все время ноет. Но это все ерунда, в сравнении с тем, что скоро на свет появится маленький Борненок, наш с тобой наследник, надежда и опора. Представляю, как ты обрадуешься этой новости.

В последнее время у меня с настроением – не очень. Постоянно преследуют папарацци, пытаются сфотографировать мою «тюленью» тушу. Эмму, жену Дэвида, тоже везде отлавливают для снимка, но она прилично выглядит – стройная, на высоких каблукчаках, в красивых платьях, а я – вся в пятнах, как леопард, в старикивских тапках и тунике, похожей на чехол танка «Абрамс» – шутка ли сорок пять фунтов набрала. Вчера увидела свое фото в газете – разрыдалась. Ну, да ладно, недолго мне еще мучиться – скоро у Борна-младшего – выход в космос. Жду не дождусь нашей встречи. Твоя миссис Борн.

15. 05. 2044

Доброго времени суток, мой первооткрыватель иных миров!

Сегодня с утра СМИ выплеснули на наши головы новость: старт «Марс-экспресса» отложен на два месяца. Я этому очень рада. Чем дольше ты находишься на Земле, тем спокойнее у меня на душе. А потом... на свидании я уже буду не одна. Я не о Софии с Филиппом. Они, конечно, тоже будут. Я о Брендоне, нашем с тобой космическом принце. Это правильно, что, отправляясь в столь длительную экспедицию, у тебя будет возможность увидеть своего сына. Надеюсь, ты не имеешь ничего против его имени. В связке с фамилией оно звучит довольно стильно – Брендон Борн. Роды намечены на двадцать девятое июня, это через две недели. Не думай, я совсем не боюсь. Хотя вру, боюсь, конечно, но ты не волнуйся. Со мной будут мама и София. Звонили с твоей службы, обещали всяческую поддержку. Зарплата твоя приходит исправно. С апреля – в полтора раза больше, чем обычно. Я ни в чем не нуждаюсь. Вчера мне звонили с CBS News и с Fox News 5, просили об интервью. Хотят, чтобы я рассказала им о тебе. Договорились на начало августа, а пока они направились к Софии с Филиппом снимать дом, в котором ты вырос, и школу, в которой учился.

Чувствую себя неважко, скорей бы уже родить. Обнимаю-целую. Твоя я.

2. 07. 2044

Ну, вот я и родила, слава Господу! У нас с тобой богатырь: рост – 25,5 дюймов, вес – 8,5 фунтов. С трудом, но справилась. Брендон – спокойный мальчик, спит и кушает хорошо, все время улыбается. Угадай, на кого он похож. Один в один – ты на твоей младенческой фотографии.

Мама сейчас живет с нами, помогает мне с малышом. Приезжали твои коллеги, привезли коляску, стилизованную под марсоход. Уговаривали принять помошь в виде проживающей в доме няньки. В крайнем случае, приходящей. С трудом с мамой отбились – не выношу в своем доме посторонних людей.

Почему старт «Марс-экспресса» отложили еще на два месяца, так и не объяснили. Это меня сильно напрягает, ведь наше с тобой свидание автоматически откладывается, а ты до сих пор не знаешь о том, что стал отцом.

СМИ рассказывают, что вы перешли в «посадочный модуль», уже трижды выходили на имитируемую марсианскую поверхность, провели необходимые работы с малой «марсианской» станцией, произвели забор проб сыпучего грунта, выполнили отработку нештатной ситуации. Все это транслировалось в эфире Центра управления полетами. На просмотр пригласили и меня с Софией и Филиппом. Были там и родные Алекса с Дэвидом. Хотела кое-что снять на телефон для Брендона – не позволили. Сказали, что после старта телевидение будет регулярно показывать вас всему миру, и Брендон за десять лет успеет понять, что его папка – герой.

Очень волнуюсь за тебя. Твоя Эн.

3. 12. 2044

Привет, мой хороший!

Сегодня представитель космического агентства по исследованию Марса сообщил, что ваш эксперимент благополучно завершен, и старт намечен на семнадцатое января. Это значит, что скоро мы с тобой увидимся. Не могу дождаться этого момента. Только бы Брендон не

захворал и не подвел меня. Видишь, он уже немножко подрос. Улыбается тебе и мысленно машет папке ручкой.

Вся страна только о вас и говорит. Все ждут старта. А мы с Брендоном его боимся. И зачем я только согласилась на эту твою десятилетнюю командировку...

Обнимаем тебя и очень скучаем. Твоя миссис и твой малыш Борн.

10. 12. 2044

Наконец-то мы с тобой увиделись, любимый! Ты сильно похудел, даже лицо подтянуло. И в глазах твоих появилась какая-то непривычная суровость. Меня очень растрогали твои слезы, когда ты увидел Брендана. Я и сама расплакалась, а вместе со мной и София с Филиппом. Всю дорогу домой глаза были на мокром месте у всех, кроме малыша. Он, как обычно, улыбался.

Скоро – ваш старт. Об этом кричат из каждого утюга. Об этом пишут все газеты и журналы. Везде – ваши с ребятами фото и аршинные заголовки: «День, который войдет в мировую историю!», «Дерзкий долгосрочный проект, рассчитанный на десятилетие!», «Проявление феномена экспансии человечества!». Вас называют героями нации, бесстрашными первопроходцами, пионерами планетарного масштаба. Я очень горжусь тобой и со страхом жду приглашения на наблюдательную площадку космодрома. Еще больше боюсь момента обратного отсчета, заканчивающегося командой: «Пуск!».

Мы тебя очень любим и безумно по тебе скучаем. Твои мы.

29. 01. 2045

Под восхищенные аплодисменты публики ваш корабль взмыл вверх. Заглушая друг друга, телерепортеры стали орать в свои микрофоны, что от вашей миссии зависит выживание человечества в долгосрочной перспективе. Что вот-вот наступит глобальная катастрофа, то ли от столкновения Земли с астероидом, то ли из-за глобального потепления. И, чтобы человеческая цивилизация выжила, ей нужно будет перебраться на Марс. К этому времени вы с Дэвидом и Алексом уже подготовите на Красной планете все необходимые людям ресурсы. Услышав это, Филипп и отец Дэвида пожали друг другу руки. София и родители Алекса

заплакали, а я... будто окаменела. Я и сейчас стою там, задрав голову к небу. Мое тело уже давно дома, а душа осталась на наблюдательной площадке мыса Канаверал.

В голове постоянно звучит обратный отсчет времени: «10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Зажигание! Пуск!». Мама говорит, что это – стресс, и мне надо походить на сеансы к психологу. Можно подумать, что психолог сможет мне на десять лет заменить мужа.

Одно утешает: теперь я буду регулярно видеть тебя по телевизору. Кстати, сегодня показывали документальный фильм о вас – «Миссия выполняема». Я сделала стоп-кадр в том месте, где ты посылаешь нам воздушный поцелуй, и заказала с него постер во всю стену. Хочу его повесить в комнате Брендона, чтобы, открывая утром глаза, он видел своего папку-героя.

В «Новостях» сегодня выступал генерал Дэвис. Он сказал, что примарситесь вы приблизительно через шесть-семь месяцев. Это где-то ко дню рождения Брендона. Не забудь об обещанном подарке – назвать его именем какую-нибудь марсианскую местность. Я на подобное не претендую, хотя...

Знаешь, Макс, у меня, и впрямь, какой-то психоз. Все время хочется плакать, как будто я не супруга национального героя США, о котором сейчас говорит весь мир, а несчастная баба, потерявшая близкого человека. Наверное, в понедельник все-таки запишусь на прием к психологу – совсем нервы расшатались.

Люблю тебя, мой герой, и очень жду на Земле.

1. 08. 2045

Здравствуй, дорогой!

Сегодня мне звонили из ЦУПа, сообщили, что ваш корабль сел на спутник Марса – Фобос, где вы будете строить мини-базу, прежде чем полетите на Марс. Велели смотреть сегодняшние «Новости». Смотрела их вместе с мамой, Софией и Брендоном. Филипп сейчас в больнице – сердце барахлит. Брендон уже разговаривает – показывает пальчиком в телевизор и говорит: «Папа!». В «Новостях» сказали, что на Фобосе вы проведете около года. Журналисты нас уже замучили, задают вопросы, на которые мы не можем ответить. Одно радует: послезавтра мы с тобой сможем поговорить. Очень жду этого момента. Даже прощаться не буду.

4. 08. 2045

Ну, вот мы с тобой и поговорили. Ощущение от нашего общения какое-то двоякое. С одной стороны, радостное, а с другой... Ты как-то непривычно зажат. Долго обдумываешь ответы на мои вопросы, спрашиваешь о маловажных вещах, ничего не говоришь о своих чувствах. Я понимаю, что нас слушает куча чужих людей, но все равно мне не хватает твоего тепла. Ты какой-то заторможенный, малоэмоциональный. Совсем не улыбаешься, даже тогда, когда я рассказываю тебе о шалостях Брендона. Может, ты болеешь? В ЦУПе мне сказали, что виновата задержка сигнала, идущего от «Марс-экспресса» до находящихся на Земле операторов. Может быть, но все равно мне грустно, тем более что наши с тобой сеансы связи сократили до одного в шесть месяцев. Ваш психолог сказал мне, что после контакта с родными вы долго не можете сосредоточиться, и это отражается на работе. Ладно, я тоже буду «выходить в эфир» реже, тем более что ознакомиться с моим видеоблогом ты сможешь не раньше своего возвращения на Землю.

12. 02. 2046

Здравствуй, милый!

Наш вчерашний с тобой контакт меня порадовал. Ты все время улыбаешься, шлешь мне воздушные поцелуи, делаешь комплименты. Я снова почувствовала «рядом с собой» моего любимого мужа Макса. Огорчило меня лишь то, что я не смогла тебе сообщить о смерти Филиппа – инфаркт. Не зря он боялся, что больше не обнимет тебя. Ваш психолог запретил сообщать вам негативные новости, так что, извини.

Я рада, что ты занимаешься спортом, слушаешь музыку, смотришь наши любимые фильмы, а когда тоскуешь по привычным земным радостям, включаешь пение птиц, шум прибоя, вдыхаешь «морской» воздух, «меняешь» времена года. Рада также, что вы все оказались стрессоустойчивыми и хорошо ладите между собой. Помни, мой дорогой, на Земле проживает около восьми миллиардов людей, а рядом с Марсом находится только ваша тройка. Именно вы причастны к грандиозным событиям, именно вы отвечаете сейчас за будущее человечества. Извини, что столь пафосно, но это – правда.

Наш Брэндон уже играет в марсиан. Всем представляется: Брэндон Борн, сын астронавта НАСА, национального героя США Макса Борна.

Мы тобой очень гордимся!

19. 08. 2046

Сегодня в стране – большой праздник! Впервые в истории человечества была совершена успешная посадка на другую планету Солнечной системы. По телевидению показывали, как «Марс-экспресс» спускается с орбиты, как сближается с Марсом, как садится на плато Меридиана, считающегося дном древнего марсианского озера. Диктор сказал, что, в случае терраформирования, именно в этом месте появится первый открытый марсианский водоем, ибо здесь – наибольшие минимальные температуры на планете.

Поздравляю вас с мягкой посадкой и внеочередными званиями, а нас, ваших родных – с повышением вашей зарплаты.

Вокруг нашего дома крутится рой папарацци разного уровня. Просят об интервью, приглашают на радио и телевидение. София сейчас в больнице, так что, весь «фонтан народной любви» достается нам с сыном. Нас буквально рвут на части. Брэндону это нравится, а мне – нет. Ты не подумай, я понимаю, что мы – семья героя, но такое информационное цунами истощает мою, и без того не очень сильную, энергетику.

За Софию не волнуйся, она – в лучшем госпитале Таллахасси, об этом позаботилось твоё руководство. О том, что вы примарсились, она еще не знает – ей пока нельзя волноваться, у неё был инсульт.

Очень тебя любим и ждем. Твои Борнята.

26. 10. 2046

Ну, вот мы и пообщались. Ты так подробно рассказывал мне о том, как вы строите марсианскую базу, как с нуля налаживаете свой быт, как проводите исследования химического состава поверхности планеты, изучаете причины возникновения пылевых бурь. Поведал о том, что скоро начнете добывать воду из полярных шапок и льда в приповерхностном слое, синтезировать кислород из углекислого газа, выращивать в оранжереях растения. Что Марс со временем превратится в цветущую зеленую планету. Все это, конечно, интересно, но об этом нон-стоп

вещают наши новостные агентства. Я же хотела услышать от тебя что-то личное, но ты ничего не рассказал о себе. На вопрос о самочувствии отдался коротким: «Тяжесть в ногах, легкость в голове». Когда я поинтересовалась микроклиматом в вашей тройке, ты ответил газетным штампом: «В столь длительную космическую экспедицию не послали бы психологически несовместимых людей», хотя мог бы ответить: «Мы хорошо ладим с ребятами». Я очень боюсь, что там, на Марсе, ты можешь превратиться в робота. Своими опасениями я поделилась с вашим психологом. Он как-то недобро посмотрел на меня и сказал, что твоя скучная эмоциональность связана с постоянными перегрузками.

Приехав домой, я задалась вопросом: «Стоит ли жертвовать своим здоровьем, а то и жизнью, ради чужой необитаемой планеты?». Куда лучше было бы, если б ты попал в дублеры.

Прости-прости. Я – живой человек, у меня тоже не всегда бывает хорошее настроение.

Люблю, скучаю. Твоя я.

29. 06. 2048

Здравствуй, мой дорогой супруг!

Прости, что подзабросила мой видеоблог. Пропал стимул. Я не уверена, что тебе он будет интересен, когда ты вернешься домой. Все, о чем я тебе рассказываю сейчас, к этому времени будет неактуально и совсем не важно. Да и новостей каких-то потрясающих у нас нет. София все время болеет, иногда заговаривается. Часто плачет, утверждая, что вы с Филиппом зовете ее к себе. Доктор Смит настаивает на ее пребывании в специализированном учреждении. Я – против, но решать будут Том с Ванессой. Ну, что еще... На минувший сеанс связи я звала с собой Эмму, жену Дэвида. Она ответила, что болеет и этот сеанс связи пропустит. Каково же было мое удивление, когда на обратном пути я увидела ее на открытой террасе ресторана Jimmy John's вместе с каким-то красавчиком. Странная она женщина. Супруг жертвует своим здоровьем, а, может, и жизнью, а Эмма веселится с каким-то виндсерфером на глазах у вездесущих папарацци. Бедный Дэвид! Но ты ведь ему не расскажешь, правда? Пусть работает спокойно.

Сегодня – День рождения Брендона. Даже не верится, что ему уже четыре года. В полдень к нему на праздник придут его друзья. Я пригласила аниматоров, должно быть весело.

Я очень рада, что вы с ребятами уже адаптировались на Красной планете, что ваши солнечные батареи и ядерный реактор работают в штатном режиме. За два года вы справились со многими поставленными перед вами задачами.

Я Брендону ежедневно рассказываю о вашей экспедиции. Вчера объясняла, для чего вы ищете залежи водяного льда. Рассказывала, что для выращивания растений в герметичных теплицах вам необходимы удобрения, а для того, чтобы вы могли транспортировать грузы, вам надо научиться производить топливо из добываемых на Красной планете углекислого газа и воды. Это займет много времени. Поэтому тебя так долго не будет с нами.

Если б ты только знал, милый, как мне без тебя трудно, как невыносимо тоскливо. Утешаю себя лишь тем, что до твоего возвращения осталось уже каких-то шесть лет.

29. 01. 2051

Макс, милый, здравствуй!

Сегодня ровно шесть лет, как вы покинули Землю. Осталось всего четыре года до нашей с тобой встречи. Я купила календарь во всю стену и каждый день крестиками вычеркиваю прожитые без тебя дни. Брендон ходит в лучшую из начальных школ Майами – Kingdom Academy, где проводит по девять часов в день. Кроме того, он посещает шахматный клуб и секцию футбола. В свободное время играет с друзьями в астронавтов. Вчера я подслушала, как они замеряли скорость ветра, влажность, давление и температуру воздуха во время «посадки» на Марс, а потом строили базу первых поселенцев. Брендон сообщил приятелям, что те должны научиться выживать в непривычных для них условиях, выращивать продукты питания и заботиться о своих жилищах. Мол, для этого на Марс заброшены все компоненты поселения. Он, как ты понимаешь, – командир корабля и самый главный начальник на Марсе, ведь его именем на Красной планете названо плато. Одним словом, растет достойная смена.

Эмма продала их с Дэвидом дом и переехала куда-то вместе со своим виндсерфером. На сеансы видеосвязи она уже давно не ездит, но это не мешает ей жить с любовником на зарплату супруга. В последний раз я ее видела полгода назад, она была беременна. Впрочем, бог ей судья.

Не хотела тебе говорить, но ты все равно узнаешь об этом только по возвращении на Землю – умерла София. Мы похоронили ее рядом с Филиппом. Как раз сегодня было сорок дней, как она ушла от нас. В последние полгода ее рассудок совсем помутился – она заказала две надгробных плиты с открытой датой смерти – для себя и для тебя. София так по тебе тосковала, что ее психика не справилась со стрессом. Прости, что я не сообщила тебе этого на сеансе связи – запретил ваш психолог.

Не могу передать тебе, как мне без тебя плохо. Жду с нетерпением.
Твоя Эн.

23. 07. 2054

Здравствуй, любимый!

Я в шоке. Вчера узнала, что вы не вылетели на Землю, что ваше возвращение откладывается еще на пару лет. Руководство экспедиции «Марс-экспресс» сообщило мне, что через полгода закончится подготовка шестерых ваших сменщиков, еще через полгода они высадятся на Марс. Полгода вы будете их натаскивать и только после этого вылетите домой. Полгода будете возвращаться. Стало быть, приземлитесь только в 2056 году. Брендону тогда будет уже двенадцать лет, а мне – сорок три. Буду почти старухой... Узнав эту новость, я три дня проревела. Девять лет назад, когда вас готовили к полету, были совершенно другие установки. Генерал Дэвис говорил на пресс-конференции, что каждые два года, когда Марс будет оказываться на нужной орбите, НАСА будет пополнять ваши запасы и доставлять к вам новых астронавтов. Выходит, что первая провизия и первое пополнение к вам попадет только в пятьдесят пятом. Не через два года, как было обещано, а через десять лет после старта!!! Странная ситуация. Если бы я на сеансах связи не общалась с тобой, подумала бы что-то дурное. Но выглядишь ты очень неплохо. И что интересно, совсем не стареешь. Нет у тебя ни морщинок, ни седины. Каким улетел в сорок пятом, таким до сих пор и остался, даже стрижка не изменилась. Об этом я говорила с майором Миллером. Он сказал, что моложавый вид – от невесомости. Что по возвращении на Землю процесс

старения пойдет гигантскими шагами. А я, милый, уже начала стареть, и морщинки уже есть, и первая седина. Да ты и сам это видишь на сеансах связи, но деликатно помалкиваешь. Спасибо тебе за это.

У Брендона все в порядке: учится хорошо, делает большие успехи в шахматах. Футбол, правда, забросил. Говорит, что надо беречь коленные чашечки, поскольку ему еще учиться в Военно-воздушной академии. Вот так! Яблочко от яблоньки далеко не падает.

Люблю, целую, жду. Твоя я.

18. 03. 2056

Привет, мой хороший! Что-то у НАСА пошло не так. Ваши сменщики в прошлом году отправлены не были. «Проект на время приостановлен, – ледяным тоном сообщил мне майор Миллер. – Занимайтесь сыном. Если будут новости, мы с вами обязательно свяжемся». Отмахнулись, как от назойливой мухи, дав понять, что остальные родственники членов экипажа проявляют терпение. Понятное дело: Алекс не женат, Эмма, по известной причине, помалкивает. Осталась только я со своими неудобными вопросами. После прошлого сеанса связи я напросилась на прием к полковнику Джексону и прямо его спросила: «Сколько лет еще моему мужу жить на Марсе?». Он опустил глаза вниз и, запинаясь, произнес: «Срок экспедиции экипажа «Марс-экспресс» продлен на неопределенное время. Возможность возвращения у них появится лишь тогда, когда они смогут своими силами организовать на месте производство достаточного количества воды, пищи, кислорода и топлива из местных ресурсов. С учетом возникновения у них нештатных ситуаций, аварий оборудования и природных катаклизмов, ясно, что для обеспечения выживаемости они должны иметь значительный резерв производственных и энергогенерирующих мощностей, от которых зависит вся сфера жизнеобеспечения колонии». Я попросила полковника перевести эту информацию на нормальный человеческий язык, и он объяснил, что у вас пока нет электроэнергии в достаточном количестве. Что вам нужно еще несколько лет. Возможно, десятилетие. А если еще учесть, что «стартовое окно» для полета между планетами открывается лишь один раз в двадцать шесть месяцев, а сам полет длится от шести до восьми месяцев, то ждать вас на Земле в ближайшие годы не стоит.

Не могу передать тебе, милый, моего внутреннего состояния в тот момент, тот день и всю последующую неделю. На двадцать лет разлуки я никак не рассчитывала. Как же счастливы жены ребят, оказавшихся вашими дублерами! Они вместе с мужьями воспитывают детей, летают в отпуска, живут полноценной жизнью, а я... Ну, все, заканчиваю хандриТЬ. Помню-помню, моя профессия – жена астронавта. Я была готова к ней с детского сада.

Люблю, целую и очень жду. Твоя Эн.

24. 10. 2060

Здравствуй, Макс!

Я под впечатлением от последнего сеанса видеосвязи. Ты очень изменился, как внешне, так и внутренне – стал старше, солиднее и, как мне показалось, печальнее. Легкая проседь и бородка тебе очень идут. Вот только в глазах у тебя – какая-то невысказанная грусть. Я понимаю: ты устал от нештатных ситуаций и от больших нагрузок, о которых не захотел со мной говорить. И о ребятах ты ничего не рассказал. И о Софии с Филиппом ничего не спросил. Наверное, уже отвык от меня, шутка ли, семнадцать лет не виделись вживую. Ты не волнуйся, я тебя по-прежнему люблю и очень жду. Я ведь жена астронавта, и любовь у нас с тобой бесконечная, вечная, космическая.

Брендон успешно учится в старшей школе в продвинутом классе, учителя его очень хвалят. Он по тебе очень скучает, написал недавно о вашем экипаже сочинение, читая которое я расплакалась. Несмотря на все трудности этой профессии, сын тоже хочет быть астронавтом. Он сказал, что полетит на Марс и сменит тебя. В крайнем случае останется там вместе с тобой. Выходит, я буду совсем одна... Очень надеюсь, что по окончании своего двадцатилетнего марсианства ты окажешься дома и отговоришь его от этой затеи.

Я очень тебя люблю, дорогой мой, и буду ждать столько, сколько будет нужно.

Всегда твоя Эн.

Анна даже не догадывалась, что ее супруга, национального героя США Макса Борна, уже более пятнадцати лет нет в живых. Связь с его космическим кораблем была утеряна через сто пятьдесят секунд после

входа в атмосферу Земли, где «Марс-экспресс» сгорел из-за сбоя в работе разгонного блока.

Объявить об этом на весь мир космическому агентству не позволили ни спецслужбы, ни пятидесятый Президент страны Бэсфорд Кларк. «Марсианский заговор» – обычная стратегия звездных войн, – рассудил глава государства, засекретив все данные об очередной космической трагедии специальным постановлением. – Нельзя позволить русским использовать нашу неудачу в пропагандистских целях и стать *первыми марсопроходцами*».

«Мудрое решение, – поспешило взять под козырек руководство NASA. – Правда о катастрофе может негативно повлиять на финансирование отрасли, бросив тень на все наши дальнейшие проекты. Куда проще продолжать выплачивать зарплату семьям погибших, демонстрируя им на «сеансах связи» образы, созданные программой «Hologram for optical displays».

Ирина РОМАНЕЦ. Дневниковые миниатюры

* * * *

Она сложила аккуратной стопкой исписанные листы рукописи. Ее книга. Она всегда знала, что в тот день, когда напишет ее, книга перестанет существовать. И вот этот день наступил. И она приняла его. Почти безоговорочно. Почти безропотно. Красивые, но хлипкие флюгера никогда не приносили счастья смуглолицым не боящимся ветра Дуартэс. Возможно, то была гордыня, возможно обыкновенная интуиция, как бы то ни было, она не собиралась сокрушаться о потере, которую другие видевшие в каждом цыпленке табака ослепительную жар-птицу, оплакивали бы все жизнь. Женщины из рода Дуартэс были реалистками, и предпочитали цыплятам табака прозрачных таинственных мидий.

Она могла бы написать другую книгу. Но знала, что никогда ее не напишет. Слишком велика цена. Предоплата вперед и после. Платить приходилось временем и пустотой, оглушающей и беспощадной ко всему живому.

Она хорошо помнила первое появление этой всепоглощающей пустоты с багажом из узлов, чемоданов, заспанных детей и пустых стульев на рассвете; на тех прогнувшихся стульях она пыталась обрести прежнее равновесие и выпросить обратно перстенек. А потом пустота начинала обрасти, подобно затонувшему кораблю всем тем, что таят в себе бездонные человеческие глубины. На первый взгляд все оставалось по-прежнему. Она все так же вслушивалась в тягучий голос муэдзина, стоя на мокрой от ливня лоджии, ловила взглядом почти неприметные движения занавесок, вместе со звуками танго выпархивающих из окон напротив, покупала переспелые абрикосы и книги Дэвиса Робертсона. Вот только голос муэдзина все чаще срывался в беспечальность, лоджии наводнялись мокрицами, а дождь шел всю осень, и как-то совсем уж по-свойски обращался и с занавесками, и с танго. Ясный и чистый слог великого канадца наполнял душу убийственной нежностью и таким же убийственным стыдом, и лишь абрикосовые косточки ложились на язык пусть с отстраненной, но все же покорностью, правда, не без толики жалости к горе-гурманке. В конце концов, ей не оставалось ничего другого, как сдаться.

И вот теперь, когда пустота со всем своим багажом и беспризорными детьми, отступила на два шага в тень, оставив на память

по себе сиротливо стоящий посреди комнаты стул и стопку исписанных листов, она смотрела в предрассветную тьму и думала о финских варежках. И в этом не было, наконец, ничего непомерного. Не для кого.

Когда-нибудь она снова будет стоять за завесой из дождя и слушать голос муэдзина, в то время, когда другие будут читать несуществующие книги и тосковать о тех книгах, которые живут в нас и только в нас. О ненаписанных, но единственно существующих.

* * *

Низкие тучи цвета мокрых простыней нависают над городом, ложась невидимым грузом на твои плечи, ты сутулишься, даже когда спишь. На языке смирения теперь приходиться не только говорить, но и молчать. Подзорные трубы, виниловые пластинки - тщетные попытки заглушить черные дыры в собственных сердцах, делающие их ещё больше, и как следствие приводящие ещё к большему смирению. В созвездиях оказалось слишком много пустот, в джаз-бэндах – ударных; жизнь кажется иллюзией, а смерть, которая в одночасье лишилась всех своих привилегий, утопией.

Улицы схвачены тонким хрустящим панцирем из грязного инея. Таким же панцирем обрастают ветки боярышника, на котором, точно белый флаг, бьется и шуршит целлофановый пакет. На клумбах с пожухлыми астрами виднеются следы от детских сапожек. Это внушает странную надежду, похожую на бездомного пса с больными глазами.

Пёс почти сливаются с безжизненной степью.

Существование лета в такие дни представляется чем-то сюрреалистическим.

Впрочем, нынешняя бесснежная зима пугает не меньше. Обычно ещё до наступления ноября первые метели на пару недель отрезали Кашру от всего остального мира, и превращали ее в идеальное место для тех, кто из всех убийств предпочитает чисто английское, а из согревающего – меланхоличное настроение и жалость к самому себе; снег, отягощенный думами нескольких поколений каширцев, валил тяжелыми грузными хлопьями, калеча телеграфные провода и вызывая острые приступы головной боли.

Неудивительно, что зима без снега представлялась каширцам не иначе, как аномалией, и поэтому, несмотря на неутешительные прогнозы синоптиков, каширцы продолжали ждать большого снега. Самые

маленькие ее жители с патриаршой невозмутимостью испытывали свои нехитрые транспортные средства в виде салазок и саночек прямо на голых тротуарах; скрежет их полозьев разносился по всему городу и повергал в смущение даже закоренелых атеистов, не говоря уже о мятущихся душах агностиков: ад определенно существовал, если во вселенной существовал звук скребущих по асфальту детских санок.

В это время всеобщего смятения и ожидания лишь старики как ни в чем не бывало продолжали играть в кости, дразня местного дурачка Гришу, который продолжал твердить, что своими глазами видел самую настоящую чупакабру. Старики в чупакабру не верили. Так же, как и в чудодейственную силу снега. Вряд ли снег или чупакабра могли избавить людей от душевных болезней. Не говоря уже о смерти. С этим согласился бы всякий, кто хотя бы раз в жизни застревал посреди зимы в маленьких провинциальных гостиницах, и кому по причине отсутствия беспроводного Интернета не оставалось ничего другого, как с тревогой и страхом наблюдать за медленным самоотречением безлюдных улиц от всего мало-мальски сущего и живого. Кабельное телевидение в этих случаях только усугубляло чувство тревоги и тоски, которую, по всей видимости, когда-нибудь придется испытать последнему выжившему Гомо Сапиенсу, пока его город будет медленно уходить под снег. Сожаление, которому нечего вспомнить. Ожидание, которое ничего не ждет. И печаль, которой не ведомо ни то, ни другое.

Остаются лишь шипение виниловых пластинок, похожее на свет давно погасших звезд и тихий шорох снежных хлопьев, укрывающих своим бесстрастием тонкий панцирь уснувшей до весны земли.

Белый продуктовый пакет, наконец, вырывается из цепких лап боярышника и белым воздушным шаром несется в затянутое тучами небо. Посиневшие от холода призраки бедуинов медленно проплывают мимо. Белый воздушный шар, снова превратившись в продуктовый пакет и опустившись на бренную землю – ох, уж это смижение - скользит по обледеневшему тротуару. Бедуины продолжают беззвучно шевелить губами. Изуважения к их молитвам я, приглушая 394 сонату Генделя, при этом не отказываю себе в удовольствии переехать белый продуктовый пакет, бывший когда-то чьим-то белым флагом.

Дочь на заднем сиденье машет кому-то в окно. Призраки бедуинов смотрят нам вслед.

* * * *

Я постигаю время через слепого хозяина чайной церемонии. Я не знаю, что появилось раньше – склоненная голова или сложенные ладони. Я выбрасываю вместе с завявшими цветами нераспустившиеся, так же и время – одним дает прозреть, другим спастись и уйти с верой, что всё возможно. Даже жизнь без сожалений.

Боль кормит гения, слабых она утешает верой, сильных - неверием, последнее приведет вас на край земли, и, возможно, вы постигните собственное сердце, обнаружив в нем того, кто молчит на всех языках и не на одном не говорит.

Я ставлю в воду новые цветы и пытаюсь вспомнить, когда в последний раз видела стариков с мудрыми глазами. Горсть колец в сведенной артритом горсти. Зачем они мне? Вымеряй линейкой стихи, чтобы они имели право на жизнь, совершенство по правилам, изгнавшее дома Гауди в область причудливого и притязывающего на вечность. Время мечтателей безвозвратно ушло. Эталоны управляют нашей жизнью, подчиняют себе наше сознание. Ответвления не должны иметь ответвлений, это путь в бесконечность, а мы так боимся заблудиться, запутаться и не выйти обратно к людям.

Я смотрю, как полошатся на ветруочные сорочки, выбалтывая деревьям свои никчемные тайны и слишком земные сны. Деревьям, которые помнят сны великих мудрецов и тайны их матерей. Мы стали слишком приземленными, но разучились слышать гул равнин и звук шагов наших не встреченных возлюбленных на другом конце земли.

Я меряю шагами комнату, пытаясь посмотреть в глаза тому, кто маячит на границе зрения. По небу плывут облака, направляясь прямо в открытые окна, и, отражаясь в тройном зеркале, продолжают свой путь в некуда. Скоро в нем зайдет невидимое солнце и проступят первые звезды. Совсем, как настоящие. А может, единственно настоящие.

Я смотрю в зеркало. Кто я? И где моя вечность? Здесь или там?

Я закрываю глаза и перестаю быть. И только запах свежесрезанных цветов находит меня и отдает на милость дню, прожитому так, как проживают чужую вечность. Вечность того, кто берет себе за пазуху только тех, кто не верит в него. Единственных, кому суждено его пережить.

* * * *

Дождь идет вторую неделю. Дожди идут внутри женщины с тяжелыми бусами и легкими сандалиями, наполняя ее шорохами, вскриками невидимых птиц, отдаленными голосами и беспрерывным дробным стуком дождевых капель о каменные чаши фонтанов. Она засыпает и просыпается под шум дождя, идущего снаружи и внутри.

Надсадный кашель терзает ее слабую грудь. Холод проникает под одежду, Она пьет куантро, обжигаясь вкусом апельсиновых корок, и кутается в длинную зеленую кофту, слишком тонкую, чтобы согреться.

Вчера на базаре старый узбек поцеловал ее руку, собственная скрюченная рука показалась её похожей на птичью лапку. Предложение старика избавить ее от недуга она стыдливо отвергла. Вместо этого она купила у него абрикосы, которые оказались удивительно вкусными.

Женщина с хрипящими бронхами заваривает себе крепкий индийский чай и добавляет в него молока и три маленькие ложки сахара. Так готовят чай на ее родине, с любовью и не спеша, как гладят по голове малышей. Краеугольные камни прошлого и будущего. Она пьет чай маленькими глотками, чувствуя, как внутрь проникает благословенное тепло. Ей отчаянно до зуда в пальцах хочется прикоснуться к шелковистым волосам ребенка, почувствовать их запах, их ускользающее постоянство. Ее пальцы пробегают по кайме шелковой скатерти – ее редко обнимали в детстве, и никогда не гладили по голове. В восемнадцать лет она оstriглась наголо и теперь носила маленький тюрбан. Темно-лиловый под цвет глаз цвета мокрой золы.

Она допивает последний глоток чая и ставит фарфоровую пиалу с красным узором на холодный камин. Из-за его высокой решетки веет сыростью и холодом.

На миг показывается солнце. Солнечный луч на короткое мгновение освещает стеклянный чайник с золотистыми танцовщиками чаинками и тут же гаснет.

Она содрогается от очередного приступа кашля. Бронхи свистят. Первые капли дождя падают на блестящий лист папоротника. Она закрывает окно. Снаружи нарастает шум.

Она проходит в свою спальню и не раздеваясь ложится на пастель.

В ту ночь ей снится чья-то широкая теплая ладонь, она гладит ее кудрявые волосы и тихо ложится на ее детские плечи.

С той ночи дожди в женщине с тяжелыми бусами и легкими сандалиями прекращаются, и только крики невидимых птиц вместе с

болью в скрюченным артритом пальцах по-прежнему будят ее на рассвете. Женщина с глазами цвета мокрой золы и коротким ёжиком из мягких светлых волос кладет ладонь себе на плечо и слегка сжимает невидимую руку.

* * * *

Время темно-розовых пионов, красных оберегов и кровоподтёков в форме клевера. Время тосковать о том, чего никогда не знал, и прогонять с порога слишком верных любовников. Самопожертвование – это цепь, на которую один человек сажает другого. Самоотречение – это порабощение. Принимать всегда тяжелее, чем отдавать.

Сегодня я видела старика, заглянувшего однажды в бездну и уцелевшего, эти люди красивы какой-то страшной доисторической красотой, зрачки их глаз - древняя смола, а улыбки - разверстые раны. Там, где заканчиваются многие знания, начинается пустота. Что мы будем делать с истиной, если однажды обнаружим ее? И что мы будем делать с собой, если окажется, что мы это и есть та самая истина?

Без мифов мы тени, развеянные по ветру паутинки. Мы может пережить тысячу зим, но не одно единственно цветение розовых пионов, длившееся всего лишь несколько дней. В обереги не вплетают имена – у Бога имен нет. Он различает нас по темени и родничкам, которые застают только для нас. Когда-то я думала, что именно там его дом. Возможно, Бог оказался слишком хрупок для мира, который создал. Возможно, это не для нас существуют сто оттенков тишины, когда идет дождь, и не на наших тела расцветают цветы-кровоподтёки и ссадины-мотыльки. Возможно, это не нас оберегают красные нити-обереги с вплетенным коротким, как выдох именем. И слишком короткое цветение розовых пионов тоже не для нас. Лето время Бога. Его детям уготована вся остальная вечность длиною в тысячу зим.

* * * *

Самый длинный день в году. Самая короткая ночь. После странное сиротство. Ты остался, а что-то ушло. Ты столько дней взбирался на невидимую вершину в надежде увидеть, узнать, обрести. Несколько дней потаенной печали, и ты снова начнешь свое восхождение к самому длинному дню и самой короткой ночи, похожей на птицу, не успевшей смежить глаз.

Легкий ветер толкает тебя в спину. Среди отцветающих пионов раскрывается самый поздний и самый нежный цветок – дитя самой светлой ночи в году. Он пахнет сумерками, переходящими в рассвет, тишиной, не знающей человеческих голосов.

К вечеру сонливые птицы покачиваются на ветках, розовые абрикосы в синей чашке вбирают золотистый свет склоняющегося к горизонту солнцу. Ты разглядываешь в зеркало мочки ушей, слишком маленькие для бабкиных тяжелых серег с темно-красным рубином. Вместо них ты вдеваешь в мочки маленькие сережки в форме обезьянок, у первой закрыты глаза, у второй зажаты уши. Ты умеешь молчать, поэтому третью обезьянку, закрывающую лапкой мордочку, ты оставляешь вместе с тонкой золотой цепочкой на столе.

Сумерки нисходят на тихую землю. Птицы на ветках засыпают, и только последний цветок пиона светится бледным призраком в дремотной тьме замершей комнаты. За миг до того, когда комнату окончательно заполняюточные тени, тебе кажется, будто обезьянка на столе отнимает лапку от мордочки и что-то шепчет на ухо своей товарке с зажмуренными глазами. Через мгновенье ты слышишь только шелест листьев.

* * *

Приход дождей совпал с болезнью. Где мои крылья, ветер? Где голоса-паутинки, из которых сложены мои песни? Горло потухло, любимое синее платье саднит в потёмах зеркал, стрекоза на холстине больше не радует. Не дочитанные книги приносят странный покой – ничто не ново под луной. Я больше не выхожу провожать солнце. Тени на стене больше не трепещут. Всё замерло. Я несу это испытание без слёз и жалоб. Всего лишь одна из многих маленьких смертей. Мертвые не плачут. Сквозь дневной сон слышу мелодичный звон маленьких колокольчиков тонкого литья. После пробуждение всё исчезает. Дневные сны слишком близки к потерянному раю, и потому мимолётны и неуловимы. Воспоминания о том, чего не было, о том, кого никогда не знал. На границе между сном и пробуждением, где не удержаться даже прозрачной подёнке. Ты возвращаешься в явь тенью с больными руками и гаснущими отзывами маленьких колокольчиков. Ты плачешь. Где мои крылья, ветер? Где я сама? В каких зеркалах? В каких далях? В чьих снах и маленьких смертях? Всегда на периферии зрения световым пятном. В голубом

платье, саднящим болью. Два дня до июля. Дождь тихо сеет с темных небес. Пахнет снегом.

* * * *

Я слышу музыку за закрытыми дверьми. Она не трепещет в занавесках и не путается в женских юбках, не несется в луга и не поднимается в небеса. Она плененная больная птица, разговор с собственной душой, гаснущий вместе со светом дня, мгновенье, которое не оставит после себя продолжения ни через день, ни через год. Откровение, не приносящее ни облегчения, ни рубцов, болящих на грозу и дождь. Музыка за закрытыми дверьми. Самое печальное творение рук человеческих. Свет без звезды, голос без дыхания, дыхание без жизни. Музыка за дверьми принимает парчовые солнца, вытканные цветы и фаянсовых стрекоз за настоящих. А за закрытыми дверьми целый мир, который мог бы подхватить несколько аккордов из-под тонких пальцев, бездумно перебирающих свои печали и думы на черно-белых клавишиах, и унести их за далекие синие горы, чтобы поселить их в тростниковую жалейку мальчика-пастуха или в грудь певчей птицы, и тем самым подарить музыке, обретенной бесследно кануть в парчовую тьму, целый мир, улыбки стариков, вздохи влюбленных женщин, детский смех, весенний ветер и первый снег с запахом счастливо прожитой жизни.

Я слышу, как за закрытыми дверьми умирает ещё одна музыка, которая могла бы стать для кого-то светом самой жизни.

* * * *

Кольцо было серебряным и, словно тонкий листок, нежно обёртывало палец. Дожди проливались на солнечные желтые акации. Просинь - на головы людей, точно помазание на уединенную жизнь с тонкими шалями и телеграфными проводами.

Ты никогда не носила колец. Но всё меняется. Что-то утрачивается, что-то обретается – морские волны выносят на берег донный песок.

Ты пыталась полюбить Цветаеву и травяной чай. Лето неумолимо катилось к своему закату. Традиции старели и тускнели, и сами же отрекались от людей. Ты с облегчением прочитала про шестерых за столом и забытую седьмую, и отнесла книгу в местную библиотеку. Хотела ли седьмая стать той, кем стала? Тебе казалось, что ты знаешь

ответ на этот вопрос. Людям нравится принимать медь за золото, а легенды часто становятся правдивее человеческих жизней.

Когда твои пальцы стали тоньше, твое серебряное кольцо соскользнуло в колодец, и ты приняла эту потерю, как ещё одно обретение. Поглаживая место, где совсем недавно было кольцо, ты почувствовала, как на твою голову опускается невидимая ладонь.

Синь небес так и не смогла затмить зелень твоих глаз, серебро осталось серебром, медь – медью, а золото – золотом.

И только легенды по-прежнему тихо вплетались в канву истории разноцветными лентами, и седьмая женщина по-прежнему присоединялась к шестерым за накрытый стол.

* * * *

Я тку для тебя нить, самую длинную (короче ее не будет), самую крепкую (невидимее ее будет только моя боль). Даже на другом конце земли ты почувствуешь у своего виска мое дыхание, и мое молчание. Потом в телефонную трубку ты слово в слово перескажешь его.

Мы должны были любить других. Твоя запретная любовь, мои не рожденные дети, и общая на двоих худоба. Мы затеяли свою игру с миром. Мы загадываем загадки, отгадок к которым не знаем сами. Не хотим знать. Мы лелеем свои одиночества и оберегаем друг от друга свои постели. Но нет на земле людей ближе. И свободней от любви друг к другу тоже нет. Ты редко смотришь в мои глаза, я редко прикасаюсь к твоим волосам. Иногда мне кажется, что ты это я. Мы слишком разные, чтобы быть не вместе. Мы слишком похожи, чтобы быть друг для друга мужчиной и женщиной. Хотя... иногда я вижу... но ты это ты, и мне приходится прятать от тебя свое главное молчание. Моя боль становится ещё прозрачнее. Судьба играет с нами в жестокие игры. И пока ты хранишь в своем столе портреты другой женщины и другого мужчины, я тку нить и прячу от самой себя ножницы, которыми смогу ее перерезать.

* * * *

Я уже слышу, как падают яблоки, как кутаются в шали беременные женщины. Первые строки появляются, чтобы оставаться единственными, но мы продолжаем длить их, и пишем стихи, дневники и романы. Первые строки ничего не объясняют, а мы так боимся остаться не понятыми. Если бы существовали романы или стихи из единственной строчки, не стали бы

мы прозорливее, яснее и прозрачнее, чем мы есть сейчас? Не стали бы слышать музыку по-другому? Не звучали бы сами по-иному, ценя каждый вздох, каждое слово, каждую паузу?

Когда мы научимся останавливаться после первых строк, находя в них всё полноту жизни, мы услышим в июле звук падающих яблок в траву, которые созреют только в августе, и увидим прекрасных женщин, кутающих в шали свои выпуклые животы, женщин, которых никогда не было, потому что другие женщины, не сумевшие стать их материами, читали слишком длинные книги и не умели останавливаться на обочинах дорог и вдыхать полной грудью призрачный запах полевых гвоздик, пахнущих пылью и солнцем.

По ночам я слышу, как падают в траву созревшие яблоки, в такт толкающейся во мне дочери. И только, когда небо окрашивается розовой зарей и над садом встает утренняя звезда, я пишу одну единственную строчку и узнаю имя своей дочери.

«Персикового цвета родимое пятно в форме ящерки велось по смуглому виску Шолпан, головка ящерки заглядывало в золотистые глаза девочки, такого же персикового цвета, и глядящие на мир с обожанием, присущим лишь незрячим».

Раиса ШИЛЛИМАТ. Семь футов под килем

Студенческая вечеринка утопала в сигаретном дыму. Душой компании был первокурсник Дмитрий, недавно демобилизованный моряк. Парень сыпал матросскими байками, девчонки хохотали, одна заливистее другой. Студентов музыкального училища, конечно, пением и гитарой не удивить, но парень брал обаянием, темой и экспрессией исполнения. Ах, как он пел! Струны звенели металлом, наполняя помещение романтикой дальних походов:

Моряк, покрепче вяжи узлы¹ –
Беда идёт по пятам.
Вода и ветер сегодня злы,
И зол, как чёрт, капитан.
Пусть волны вслед разеваю рты,
Пусть стонет парус тугой –
О них навек позабудешь ты,
Когда придём мы домой.

Разумеется, волн с разинутыми ртами никто из присутствующих (за исключением исполнителя) отродясь не видел, поэтому девчонки, сбежавшиеся со всего общежития, слушали песни бывалого морского волка именно так – открыв рот. Лёля в том числе. Очаровал моряк. Через год расписались. Поселились в оставшемся от бабушки домике на окраине города, почти у опушки леса.

Портрет мужа в матросской форме красовался на стене, на самом видном месте, молодая жена с удовольствием слушала его воспоминания о лихих похождениях, а после рождения второй дочери пошутила, что теперь у них не семейная лодка, а корабль с женским экипажем на борту. Муж довольно засмеялся: жена повысила его в должности, теперь он капитан, и семь футов под килем своему кораблю обеспечит! Да Лёля и не сомневалась, что с любимым, весельчаком и подающим большие надежды музыкантом, никакие бытовые шторма не страшны.

¹ Песня А. Городницкого

За штормами дело не стало. Жили предельно скромно. В их небольшом городе на сонатах, сарабандах и тому подобных тонких музыкальных материях не разжиреешь. Своё профессиональное мастерство Дмитрий дополнительно «оттачивал» в сплочённых рядах похоронного оркестра. Кроме этого подрабатывал в ресторане. Пел про бублички, про вишни, что созрели в саду у дяди Вани, и жалостное, без малого в яблочко бьющее «подойдите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои босы...». Но мысли о большой сцене не оставляли. Чтобы иметь успех, утверждал Дмитрий, ему нужен настоящий инструмент, он ведь серьёзный музыкант и нарабатывает классический гитарный репертуар Анидо, Сеговии и прочих великих. И вот свершилось! Дешёвую «деревяшку» с металлическими струнами сменила большая, пышнобёдная красавица, сделанная известным мастером на заказ. На эту, как выразился Дмитрий, инвестицию в будущее, ушли деньги, собранные за все годы шабашек. И ещё пришлось занять столько, что теперь, чтобы расплатиться с долгами, лабать² ему до конца дней своих.

Постепенно Лёля начинала понимать: капитан медленно, но прочно сажает корабль на мель. Сердце сжалось, когда думала о детях. В их души не хотелось вносить сумятицу, поэтому убеждала: нужно ещё немного потерпеть, всем вместе. Шли годы, а большой талант Дмитрия продолжал пробуксовывать где-то на уровне средних способностей для внутреннего пользования: по настроению впадая в творческий экстаз, капитан играл ночами напролёт. Засыпал утром, когда команда, очумелая от ночной «музыкальной табакерки», просыпалось.

Однажды поздним зимним вечером Дмитрий пришёл домой не один, а с одноклассником, которого встретил в ресторане. Тот, в модном полушибке и роскошной ондатровой шапке, эдаким козырным тузом ввалился в прихожую их жилища, по-хозяйски оглядел «хоромы» и бесцеремонно заявил:

- Хреновенько, брат, живёшь!
- Не в дублёнках счастье! – парировал Дмитрий.

Представил гостя:

- Лёлька, у нас сегодня очень дорогой гость! Петька, собственной персоной! Друг старых игрищ и забав, бузотёр и разгильдяй!
- Что-то не очень он похож на разгильдяя, – улыбнулась Лёля.

² На жаргоне музыкантов лабать – играть для ресторанный публики.

— Накрывай на стол, мать, мы лет сто не виделись, сейчас по коньячку шарахнем.

Лёля для приличия немного посидела с друзьями, потом сказала, что ей завтра рано вставать и ушла в спальню. На спокойный сон женщина не рассчитывала, по опыту знала — посиделки будут долгими. Мужчины, разгорячённые спиртным, не замечали, что говорят громко, и Лёля, хочешь — не хочешь, слышала весь разговор.

После воспоминаний о школьных годах, Пётр снова вернулся к дню сегодняшнему:

— Слушай, Димон, можешь на меня обижаться, но я скажу. Вот ты меня назвал бузотёром и разгильдяем. Не отрицаю, бывало всякое, но я давно вырос из этих штанишек. А ты? О твоих достижениях могу судить по твоей хибаре. Честно говоря, когда шёл к тебе, ожидал другое увидеть.

— Много ты понимаешь! Стены не самое главное, ты мне в душу загляни!

— И что же там?

— Там большая музыка живёт! А музыка — великая сила! Что ты понимаешь в музыке? Ты — самый, что ни не есть, филистёр.

— Ну, если тебе от этого легче, называй меня так. А ты, надо думать, самый настоящий интеллигент, цвет нации?

— Да, и не боюсь в этом признаться! Для меня самое главное богатство — духовное!

— Да, ну ты! Объясни мне, олуху, что это такое.

— Самопознание и самосовершенствование!

— Вот этого не надо! Словоблудием ты можешь заниматься с кем-нибудь другим. Духовно богатый человек, по-моему, прежде всего окружает заботой и любовью близких, а на твою избушку на курьих ножках и на жену смотреть больно.

— Ишь ты, сердобольный какой! А ты не знаешь, что настоящему таланту всегда трудно пробиваться?

— Ты уверен, что у тебя настоящий талант?

— Хочешь, сыграю?

— Не хочу, твоё семейство спит. Я в прошлом месяце был на концерте Пако де Лусии. Лучше расскажи мне нормальным человеческим языком, почему ты живёшь вот так, как последний м...к.

— Ты ничего не знаешь, я выхожу на старт. Приезжай через пару лет, посмотрим, что тогда скажешь! У меня ещё всё впереди!

— Зачем ждать пару лет? Я тебе, дураку, сейчас скажу: впереди если что-то и светит, то не тебе, а твоим детям. И то при условии, если батя перестанет дурью маяться.

Лёля лежала, едва сдерживая слёзы. Пётр словно услышал и озвучил её мысли. Под утро он ушёл, а Дмитрий всё сидел на кухне, курил и рассуждал вслух о том, что Петька, как был дубиной стоеросовой, так и остался, а туда же — жить учит.

С того момента что-то в поведении Дмитрия изменилось. Он и без того был неуравновешенным человеком, а тут появились новые странности: то останавливал взгляд на жене так, что ей становилось неловко, словно она в чём-то виновата, то вдруг напористо спрашивал, о чём она сейчас думает. Застигнутая врасплох неожиданным вопросом, Лёля на какое-то мгновение замолкала, чтобы восстановить ход мыслей. В момент, когда к человеку кто-то внезапно обращается, внимание его переключается с внутреннего монолога на собеседника и мысль теряется. Тут же следовал новый вопрос: почему ответила с промедлением, есть что скрывать? Лёля ничего не могла понять, неизвестность вещь неприятная. Не выдержала, осторожно поинтересовалась:

— Объясни, в конце концов, что происходит?

— Видел я, как ты на него смотрела, — тихо сказал Дмитрий и недобро посмотрел на жену.

— На кого? — не поняла Лёля.

— Не прикидывайся! На Петьку, на кого же ещё!

— Господи, что ты несёшь? Я даже забыла, что он у нас был!

— Так ведь и он на тебя запал!

— Дима, ты совсем идиот?

Разговор замяли, но осадок остался. Вечером, взяв гитару в руки, Дмитрий вдруг вспомнил свой флотский репертуар. С чего бы это? Пел, не сводя глаз с Лёли:

Не верь подруге, а верь в вино,
Не жди от женщин добра:
Сегодня помнить им не дано
О том, что было вчера.
За длинный стол посади друзей
И песню громко запой, —
Ещё от зависти лопнуть ей,

Когда придём мы домой.

Женщина чувствовала себя так, словно её вывалили в грязи. С грустью подумалось: похоже, «друзья за длинным столом» незаметно стали привычной средой обитания Дмитрия и как ему казалось, настоящими ценителями его таланта. Единственными.

Наступала весна, светило солнце, таял снег, из-под него проплешинаами выглядывала прошлогодняя трава. Лёля вышла на крыльцо и восхищённо воскликнула:

– Боже, благодать-то какая!

Вслед за ней слегка щурясь от солнца, вышел, Дмитрий:

– Хорошо! Пахнет свежестью.

Из-под крыльца вдруг выбежала пушистая рыжая крыса. И откуда она взялась? Животное направлялось к протекавшему в нескольких метрах от дома ручью.

– Смотри, смотри, это же ондатра, первый раз вижу! Ой, как интересно! – всплеснула руками Лёля.

– Ещё как интересно! Сейчас я её... – глаза Дмитрия недобро сверкнули.

– Ты что, с ума сошёл? Зачем она тебе?

– Шапку сошью.

Жена подумала, что муж шутит, ну какая может быть шапка из шкурки животного величиной меньше кошки? Что это с ним?

Дмитрий заскочил в сарай и быстро вернулся с лопатой в руках. Лёля оторопела. Он не шутил. Пытаясь отобрать лопату, женщина потянула черенок на себя, но муж толкнул её с такой силой, что она едва удержалась на ногах. Дмитрий погнался за ондатрой. На крыльце выбежали дочери, наперебой закричали:

– Папа! Что ты делаешь?

– Папа! Перестань!

– Уйдите отсюда! Не мешайте! – зло огрызался отец.

Лёлю трясло. На побледневшем лице мужа хищный азарт, зрачки расширены

Расправа была не долгой: удар настиг несчастное животное, оно заверещало и заметалось, пытаясь уйти от преследования. Ещё удар – из носа хлынула кровь, ондатра, теряя ориентацию в пространстве, успела сделать пару неверных шагов. Следующее попадание довершило дело.

Старшая дочь выкрикнула:

– Папа, ты же убийца!

Потом закрыла лицо руками, прислонилась к перилам и тихо заплакала. Младшая ревела во всё горло.

– Замолчите! Развылись тут..., а то и вам сейчас достанется...

Лёля обняла детей, чтобы они не видели, как довольный отец с демонически-победной ухмылкой проносит мимо них бездыханную тушку в сарай. Капитану и в голову не пришло, что крыса, несколько минут назад выбежавшая из-под крыльца, покидала их корабль.

ЭССЕ

Ефим БЕРШИН. Человек у новогодней ёлки. Ко дню рождения Юрия Левитанского

Январь к нам является в прямом соответствии с русской пословицей: «Не было ни гроша – да вдруг алтын». Унылая ноябрьская хандра и почти английский декабрьский сплин вдруг сменяются целой россыпью праздников – тут тебе и Новый год, и Сочельник с Рождеством, и старый Новый год, и просто-напросто школьные каникулы, которым и вовсе все праздники не чета. И весь этот январский калейдоскоп у нас уже совершенно немыслим не только без елочных базаров и снежных заносов с последующим отключением отопления, но и, к примеру, без известного рязановского фильма: какой канал не включи – везде сначала в бане парятся, потом водку пьют, потом бесчувственного мужика в Питер засыпают на верную, можно сказать, любовь со всеми вытекающими последствиями.

А между тем, есть в русской жизни несколько поэтических строк, которые тоже неизменно сопутствуют нашему Новому году. Они тихо так, подспудно, почти незаметно живут почти в каждом из нас последние лет сорок пять, а то и чуть больше – с того дня, как был показан фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где эти стихи и прозвучали. И без них и Новый год какой-то пресный, и январь теряет половину своей прелести.

– Что происходит на свете? – А просто зима.
– Просто зима, полагаете вы? – Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.

И далее – вплоть до «и – раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три» – все вроде бы очень просто. Тем не менее, ставшее песней стихотворение «Диалог у новогодней елки» по-своему уникально. Своеобразное послание, откровение, чуть не евангелие от Юрия Левитанского («этот, с картинками выюги, старинный букварь») – от декабрьской погибели до карнавала надежд и непременного воскрешения

души. И все это – не сходя с места, у новогодней елки. Как это часто случается с истинными художниками, именно неисправимый (особенно в последние годы своей жизни) пессимист Левитанский сумел внушить хотя бы краткий новогодний оптимизм уже нескольким поколениям. Ибо заповеди его елочной проповеди просты и понятны:

- а) «сколько вынуже не кружить, недолговечны ее кабала и опала»;
- б) «следует жить»;
- в) «следует шить... сарафаны и легкие платья из ситца».

Особенно сегодня подкупает, что он заставляет танцевать карнавальные маски («и карнавальные маски – по кругу, по кругу!»). Для него это отдельная, серьезная тема. В последние годы жизни Левитанский не уставал удивляться, негодовать, мучиться вопиющим несоответствием между реальным значением многих и многих людей с одной стороны и их масками (как теперь говорят, «имиджем») – с другой. В этом смысле изменилось все, даже известная пословица – потому что по одежке стали не просто встречать, но и провожать. Отдельные собратья по перу выстроили целые теории, в которых выработка образа (имиджа, маски) – первое и главное условие существования любого уважающего себя в обществе пиита, после чего, конечно, ум и талант уже не имеют практически никакого значения. В итоге мы получили вместо хоровода лиц – хоровод масок. Отнюдь не карнавальных. Теперь считать и просчитывать стало модным не только деньги, хотя их – в первую очередь. Теперь просчитывается все: харизмы, политические пристрастия, любовь, прически. Все это началось, конечно, не сегодня. Известно, что еще в семидесятые годы один модный поэт приглашал к себе на дачу иностранных журналистов, а завидев в заборную щель, что они уже приближаются, быстро скидывал с себя тулупчик, хватал топор и, голый по пояс, принимался рубить дрова. Потом иностранная пресса заполнялась образом истинного русского поэта, настоящего медведя и дикаря, который нагишом на снегу дрова рубит и при этом еще стихи пишет.

Повторяю, что все это началось не сегодня. И даже не у нас. Но именно в наши дни и именно у нас приобрело такой размах, что тянет уже на диагноз. Если знаменитая западно-американская улыбка – не улыбка, а маска, то у нас теперь все маска, все образ. Вместо коммуниста – имидж коммуниста, вместо демократа – имидж демократа, вместо поэта – образ поэта, а вместо страны все последние годы у нас была маска страны,

фантом страны, а то и просто – оскал. Даже знаменитый террорист Усама – тоже какой-то виртуально-масочный.

У Левитанского все живое, все всерьез – и елки, и Новый год, и карнавалы. Все говорит о жизни, все тянется к ее продолжению, к лучшему продолжению. На примере его стихов очень легко понять, что мы потеряли и что продолжаем терять ежеминутно – непосредственность, одухотворенность, живые человеческие отношения, живое восприятие действительности, а, следовательно, самое жизнь. И саму смерть. Потому что мертвое при жизни даже умереть толком не может.

Зато живое – не умирает вовсе. И не надо принимать эту фразу за праздничную вычурность. Праздник – праздником, а стихи-то и вправду живы, как ежеянварский Новый год. Левитанский сумел вписаться в нашу общую елку жизни не то чтобы Дедом Морозом, не то чтобы звездою на елочной макушке, но – тонким стеклянным шаром, фонариком, долгоиграющим матовым диском, чуть припрятанным, как за облаками, за клочьями снежной ваты. «Был воздух морозный упруг. Тянуло предутренним холодом. Луна восходила над городом, как долгоиграющий круг». Так и он восходит каждый Новый год – спокойно, ненавязчиво, «матово», чтобы в очередной раз спросить: «Что происходит на свете?»

ВОСПОМИНАНИЯ

Нина ГАБРИЭЛЯН. Есть смысл в поэте только лишь босом...

Воспоминания о Евгении Винокуре (22 октября 1925, Брянск – 23 января 1993, Москва)

*Такой обычный, я однажды стану
Далёким и загадочным... Как всё.*

Евгений Винокуров

Начало семидесятых годов прошлого столетия. Я уже активно пробую свои силы в поэзии и запоем читаю один поэтический сборник за другим. От этого в голове у меня делается такая какофония из чужих метафор, ритмов и рифм, что с какого-то момента я просто перестаю различать, что талантливо, а что так себе. И вдруг:

Мы из столбов и толстых перекладин
За складом оборудовали зал.
Там Гамлета играл ефрейтор Дядин
И в муках руки кверху простирая.
А в жизни, помню, отзывался ротный
О нем как о сознательном бойце.
Он был солидный, краснощекий, плотный,
Со множеством веснушек на лице.
Бывало, выйдет, головой поникнет,
Как надо, руки скорбно сложит, но
Лишь только «быть или не быть?» воскликнет,
Всем почему-то делалось смешно.

Я сразу попадаю под обаяние этих строк. Я тогда и представить себе не могла, что через несколько лет мне посчастливится познакомиться с их автором, Евгением Михайловичем Винокуром, и он возьмёт меня под своё крыло.

1979 год. Я уже автор нескольких маленьких публикаций, посещаю различные поэтические литобъединения, семинары и круглые столы. Недавно приняла участие в Празднике переводчика в Ереване. Там я, в

частности, познакомилась с Наумом Исаевичем Гребневым, известным переводчиком восточной поэзии. Обменялись телефонами. Изредка перезваниваемся. И вот как-то раз Гребnev звонит мне из Дома творчества писателей в Переделкино

– Нина, тут в Переделкино Левон Мкртчян³ приехал. Подъезжайте, обсудите с ним Ваши дела. Я Вас на вокзале встречу.

Но первым, кого мы увидели, войдя на территорию писательского городка, был Винокуров.

– Женя, познакомься, молодая поэтесса, весьма способная, – представил меня Гребнев.

Втроём мы сели на скамеечку, к нам присоединились еще какие-то две женщины.

– Читайте, – скомандовал Винокуров.

Волнуясь, я прочла своё стихотворение, где были такие строчки «Я возвожу не храм, но лишь ступени».

– Да, вполне крепенькие стихи, – одобрил мэтр.

– Женя, – сказала одна из женщин, – так напечатай её.

Я радостно обмерла. Напечататься в «Новом мире», где Винокуров заведовал отделом поэзии, было очень престижно. Винокуров хитро сощурился:

– Так ведь Вы всего лишь ступени возводите. Вот когда храм построите, тогда и приходите.

И тут меня осенило:

– Евгений Михайлович, так ведь храм – это уже публикация книги. А журнальная подборка – это ступени.

Он с интересом посмотрел на меня:

– Н-да… Приходите.

После обеда в столовой, где Гребнев и Мкртчян, со словами «детям надо хорошо кушать», активно подкладывают мне еду на тарелку,

³ Левон Мкртычевич Мкртчян (1933 – 2001) - советский армянский писатель, литературный критик, литературовед, теоретик художественного перевода. Доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Армении, основатель и первый ректор Российско-Армянского (Славянского) государственного университета. 2. Стр. 121, сноска 3. По моей оплошности пропущены слова. Надо: На описываемый момент был заведующим кафедрой русского языкознания и теории перевода Ереванского Государственного университета.

перемещаемся в бар, попить кофе. К нам подсаживается Винокуров. Завязывается общая беседа. С какого-то момента разговор выруливает на тему непознаваемости мира.

– Всё – миф, – говорит Винокуров. – Вот, например, этот стол – миф. Чашка – миф, кофе – миф!

– Так об этом ещё Кант писал в «Критике чистого разума», – вставляю я свои три копейки. – Что «вещь в себе» непознаваема.

– О! – радостно удивляется он. – А Вы что окончили?

– Институт иностранных языков.

Он одобрительно кивает головой:

– Приходите. В следующую пятницу. В четыре часа. Где «Новый мир» находится, знаете?

Признаюсь, я тогда немножко блефовала. Институт-то я, действительно, окончила. Но Канта в ту пору не читала. Но мы его в институте, что называется, «проходили». В рамках истории философии. Так что какие-то общие представления у меня всё же были. Как я позже поняла, Винокуров ценил образованность. В частности, с гордостью говорил о поэтичессе Жене Славороссовой, посещавшей литобъединение «Зеленая лампа», где он вёл один из семинаров: «Она окончила философский факультет МГУ!».

А однажды спросил меня:

– Ты Шопенгауэра читала?

– Не читала, – ответила я.

– Как?! – возмутился он. – Что же ты за поэт, если не читала Шопенгауэра! Обязательно прочти!

Но это было уже чуть позже. В назначенный день, робея, я поднимаюсь по лестнице на второй этаж дома за кинотеатром «Россия», где находилась редакция «Нового мира». Тогда она казалась мне чуть ли не лестницей к славе.

– Винокуров? – Удивляется секретарша. – А его сегодня не будет. У него присутственный день во вторник.

Раздосадованная, возвращаюсь домой. То ли я не так поняла Винокурова, то ли он подшучил надо мной. Не пойду я больше к нему! Не судьба! И вдруг через несколько дней – телефонный звонок:

– Нина, это Винокуров. Я тут статью пишу в журнал «Юность» о своих учениках. Вы не возражаете, если я напишу, что Вы моя ученица?

– А Вы хвалить будете или ругать? – осторожно интересуюсь я.

– Ну, конечно, хвалить.

Так я стала ученицей Винокурова. Знакомство с Евгением Михайловичем, а затем и многолетнее общение с ним стали для меня судьбоносными. Он открыл для меня поэзию русского зарубежья, которая в советское время была для нас малодоступной. Позволил пользоваться книгами из его большой домашней библиотеки, подарил изданный в Великобритании сборник стихов блистательной Марии Шкапской, на тот момент незаслуженно забытой... Но главное – это общение. Винокуров был очень образованным человеком, хорошо знал не только художественную литературу, но и труды философов, ценил Бергсона, Розанова... Дома на столике у него всегда лежала большая Библия. Разговоры с ним о поэзии были упоительно интересными. «Что такое поэзия, – говорил он, – вынь свою печень и положи на стол! Горячую! Это и есть поэзия. А всё остальное – ерунда!» У него был огромный жизненный опыт. После окончания 9-го класса в 1943 году он был призван в армию. Окончил артиллерийское училище и в неполных 18 лет стал командиром артиллерийского взвода. Воевал на 4-ом Украинском фронте, в Карпатах, боевой путь закончил в Силезии. Фронтовому опыту, он посвятил немало стихов, эта тема не оставляла его до самого конца жизни. Но в разговорах со мной он военную тему практически не затрагивал. Лишь один раз показал письмо, которое прислал с фронта своей матери: «Мама, мы здесь увидели такое, о чём скоро будет кричать весь мир» (цитирую по памяти). Оно было написано после того, как войска Красной Армии освободили нацистский лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Много позже, в начале восьмидесятых годов, в поэме «На Запад» он опишет то, что увидел тогда в этом лагере смерти собственными глазами:

Машины шли на Запад...
Вдруг я замер:
так вот он, этот небывалый ад!
У газовых, у сатанинских камер,
как бы в пижамах пленники стоят.

В стихотворении «Не открывают второго фронта...» он так охарактеризовал свое поколение – фронтовиков: «бездонных бедствий очевидцы».

В одной из своих статей, посвященных поэзии, Винокуров писал: «...строго говоря, учителей в литературе не бывает, – то есть поэт учится сам, читая книги других, – но поддержка необходима, то есть нужны не учителя, а, я бы сказал, – поддерживатели»⁴. Вот таким «поддерживателем» и стал для меня Евгений Михайлович.

Тогда в Москве было немало литературных студий и объединений – при заводах, институтах, редакциях художественных журналов, и пишущая молодежь активно их посещала. Как правило, руководителями таких объединений были взрослые стихотворцы, со своими сложившимися представлениями и вкусами. И хорошо, если молодому поэту посчастливилось попасть к «своему», близкому по духу, руководителю или же к человеку с широкими взглядами на литературу, способному почувствовать и оценить индивидуальность начинающего автора. Но если ты попал к руководителю, которому твои стихи были абсолютно чужды, то такой «мэтр» мог начать тебя ломать, выбраковывая стихи, не соответствовавшие его личным пристрастиям. Кто-то требовал от учеников писать «попроще», кто-то – «посложнее», один ценил в поэзии «исповедальность», другой, наоборот, возмущался «душевным стриптизом» и призывал быть сдержаннее... Винокурову не были нужны «последователи». Он никогда не учил меня, как надо «правильно» писать стихи. К моменту нашего знакомства с ним я вполне уже владела техникой стихосложения. Что же касается тематики, то я ни разу не слышала от Винокурова, что вот об этом стоит писать, а вот эта тема недостойна внимания. От других доводилось. «Ну, зачем Вы, Нина, пишете о храмах, – возмущался руководитель одного из литобъединений, куда меня затащил кто-то из приятелей. – Зачем эти красоты? Надо писать об обычной жизни». Ничего подобного Винокуров никогда не говорил. Если мои стихи ему нравились, он хвалил: «Хорошие стихи. Вкусные». Если же особого впечатления они на него не производили, то комментировал их следующим образом: «Ну что ж, это тоже твои стихи. Лягут в протоплазму книги». Он считал, что книга стихов состоит из «ядер» и «протоплазмы». Но «протоплазма» должна быть индивидуальной, из которой могут родиться только твои стихотворные «ядра».

Как-то раз я пожаловалась Винокурову, что некий поэт старшего поколения упрекает меня в том, что в моих стихах слишком много «физиологии».

⁴ «Илья Эренбург» // Евгений Винокуров. Жизнь, творчество, архив. М., 2000, с.269.

– Что?! – побагровел Евгений Михайлович. – Пошли его куда подальше! Да что он понимает в поэзии? И вообще, какое он имеет право тебя учить? Ты ко мне совсем девочкой пришла. И я сразу принял тебя на равных. А он учить лезет. Мало у тебя физиологии, больше надо! Больше!

Помню, как он восторгался строчкой Натальи Лясковской «беременная бабочка летит». Сам он ценил в поэзии вещественность, телесность, осязаемость. В стихотворении, написанном им в 1945 году, есть такие строки:

Я эти песни написал не сразу.
Я с ними по осенней мерзлоте,
С неначатыми, по-пластунски лазал
Сквозь черные поля на животе.

.....
Они бывали в деле и меж делом
Всегда со мной, как кровь моя, как плоть.
Я эти песни выдумал всем телом,
Решившим все невзгоды побороть.

Он знал, что «Не лукавят капилляров тыщи, // железа глубинная не врёт...» К теме плоти он в своих стихах возвращался часто и настойчиво, вертел её и так, и эдак, как бы стремясь выявить всё новые и новые грани. Он так подробно вглядывался в плоть, как географ, исследующий новую, неизведанную область. Он изучил её от и до: от «узластой руки вспотевшего до нитки хлебореза» до космогонических аспектов плоти, тех, где тварь смыкается с Творцом, тварное – с творческим. Сама биология предстает в его стихах как творческое сакральное начало: «великая семейно-родовая // утробная преемственная связь». Плоть в его стихах не антидуховна, но антимеханистична. Она интимно, сакрально связана, с духом. И не только человеческая плоть, но и плоть мира:

Любите плотность мира, теплоту
Земли.
Пейзажам радуйтесь! При виде
Их руки заломите! На плоту
По черной, точно смоль, реке плывите.

.....

Есть смысл в поэте только лишь босом:
Пусть между пальцев проступает глина.

Слова «плоть», «нагота», «искренность», «глина» - устойчивые символы его поэзии, своеобразные энергетические узлы его творчества. Взаимодействуя друг с другом то в рамках одного стихотворения, то в межстиховом пространстве, они создают некое энергетически-смысловое поле, пронизывающее своим излучением все остальные пласти его поэтического мира. По сути, его тяга к плоти мира – это бунт «человека естественного» против превращения его в придаток какой бы то ни было мировоззренческой схемы.

Вместе с тем, высоко ценя телесность и плотность мира, он тонко чувствовал, что «за густой // вещественностью мнимой // где-то брезжит // непонятный свет». В стихотворении «Я разлюбил искусство Возрожденья...» у него есть такие строчки:

...меня всё больше привлекает ныне
тот, что и под самумом не полёг,
в дыму метафизической пустыни
засохший, одинокий стебелёк.

Впрочем, я не собираюсь здесь заниматься подробным литературоведческим анализом стихов Винокурова. О нём написано немало статей. И я тоже в свое время внесла свою посильную лепту в исследование его творчества – моя большая статья, посвященная поэзии Евгения Михайловича, была в 1995 году опубликована в журнале «Вопросы литературы». Поэтому вернусь к собственно воспоминаниям.

Каждую новую порцию стихов я показывала Винокурову. Иногда приезжала к нему домой, иногда он назначал встречу в Центральном доме литераторов. В последнем случае он, как правило, приглашал меня пообедать с ним в ресторане. Из-за разнообразных болячек Евгению Михайловичу была предписана строгая диета. Но...

– Даме – рюмку коньяка, а мне стакан кипячёной воды. Ты что будешь есть?

– Шашлык.

– Так, один шашлык. А мне – спаржу.

Официантка приносит заказ. Евгений Михайлович извлекает из портфеля коробочку с лекарством и бросает в стакан таблетку. Вода шипит и окрашивается в бурый цвет.

– Ну, за твоё здоровье! – говорит он и, морщась, выпивает весь стакан. – Теперь надо закусить.

Быстро расправившись со спаржей, Винокуров начинает поглядывать на мою тарелку:

– Что ты так долго ешь? Давай-ка я тебе помогу.

– Евгений Михайлович, Вам же нельзя!

– Немножко можно, я совсем ма-а-ленький кусочек отрежу.

И отхватывает кусок от моего шашлыка.

– Да, вкусно. Дай-ка еще.

С его помощью моя тарелка быстро пустеет.

– Хорошая вещь спаржа! – удовлетворённо констатирует он и хохочет.

У Винокурова было немало поклонников. Но, как у любого известного человека, были и завистники. Как-то раз он принёс в издательство очередной сборник своих стихов. Редактор, сам писавший стихотворные тексты, недовольно морщится:

– У меня всего две книжки вышло. А Вы уже двадцать пять издали. Рассказывая мне этот эпизод, Винокуров в недоумении разводит руками:

– Но ведь я же их написал!

В 1988 году я подала заявление на вступление в Союз писателей СССР. Тогда членство в Союзе писателей имело гораздо большее значение, нежели теперь. Не то, чтобы оно открывало все двери, но с «не членом» считались гораздо меньше, нежели с «членом». Рекомендации мне дали Ирина Волобуева, Роберт Винонен и Винокуров. Из всех троих он единственный был членом бюро секции поэтов, и я очень рассчитывала на его поддержку во время заседания приемной комиссии. И вдруг...

– Нет, не пойду. Иди одна.

– Евгений Михайлович! – взвыла я. – Ну, пожалуйста!

– Нет. Это только всё испортит. Как ты не понимаешь, если я приду, тебя зарубят. Назло мне.

Спорить было бесполезно. Меня приняли большинством голосов. После заседания ко мне подошёл один из членов приёмной комиссии, ныне покойный. Он ехидно улыбался и потирал руки:

– Ну что, Нина, теперь-то Вы видите, как Ваш учитель к Вам относится? Мы-то Вас приняли. А он даже не соизволил явиться.

Когда я вернулась домой, мать сказала, что уже несколько раз звонил Винокуров, спрашивал, есть ли новости. Я бросилась к телефону:

– Приняли!

Он страшно обрадовался:

– Ну! Я же тебе говорил! Говорил! А ты не верила. Ты что думаешь, я не соображаю, что делаю?!

Винокуров был человек с чувством юмора. Вот один эпизод, рассказанный им: «На днях столкнулся в ЦДЛ-е с К. (Он называет фамилию известного кавказского поэта). Он мне говорит:

– Женя, почему ты меня не переводишь? Боря меня переводил, Павлик переводил. (Это он о Пастернаке и Антокольском, – поясняет Винокуров). А ты почему-то нет.

– А Нюра, – спрашиваю, – тебя не переводила?

– Какая Нюра?

– Нюра Ахматова не переводила тебя?»

Кто-то сказал Винокурову, что некий поэт якобы раскритиковал в прессе его стихотворение «Моя любимая стирала...» Там были такие строки:

То плечи опустив, родная,
Смотрела в забытьи в окно,
То пела тоненько, не зная,
Что я слежу за ней давно.

Они-то и вызвали негодование критика: мол, что это такое – женщина трудится, а Винокуров в это время бездельничает и только праздно смотрит на то, как она работает.

– А почему он решил, что я ничего не делаю?! – возмущается Винокуров. – А может быть, я в этот момент бельё развешиваю! Или тяжёлым утюгом его глажу! Я ему позвоню! Я ему скажу! Как ты думаешь, позвонить?

– Да Бог с ним, Евгений Михайлович, – пытаюсь успокоить его я. – Может, это всё и неправда.

Любимая фраза Винокурова: «Надо наращивать толстокожесть!» Но это у него, по всей видимости, не очень получалось. И в стихах он сетовал:

Один здоров, хоть инвалид,
Скажу я не в укор.
А у меня всю жизнь болит
Булавочный укол.

.....
Знать кожа у меня тонка,
Другой же кожи нет.

Телефонный звонок:

– Нина, это Винокуров. У тебя о-очень плохое настроение когда-нибудь бывает?

– Бывает, – отвечаю.

– Ой, как хорошо! А у друзей твоих бывает?

– Бывает.

– Хорошо!

– Да что же хорошего, Евгений Михайлович?

– А я думал, что я один такой на свете. Ой, как хорошо!

Смерть Винокурова явилась для меня полной неожиданностью. Инфаркт. На прощание с ним пришло очень много людей. В основном, писатели. Почему-то особенно запомнился Юрий Бондарев. Не знаю, в каких они были отношениях при жизни Винокурова, но Союз писателей уже разделился на две части и они – в разных Союзах. Вид у Бондарева крайне расстроенный: уходит его поколение – фронтовики. На поминках в большой винокуровской квартире около метро «Смоленская» много народа: Вадим Сикорский, Игорь Волгин, Елена Николаевская, Станислав Рассадин, Таня Бек...

Сергей Есенин в одном из стихотворений писал: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Но в случае с Винокуровым мне с самого начала было ясно, что я имею дело с большим русским поэтом. И я благодарна судьбе за то, что она подарила мне столько лет общения с этим выдающимся поэтом, человеком и наставником

РЕЦЕНЗИЯ

Елена СЕВРЮГИНА. Черепаха на поводке. *О книге Нины Баладиной «Парашютик жизни»* (М.: «У Никитских ворот», 2025)

Новую книгу Нины Баландиной можно назвать показательной во всех смыслах этого слова. Здесь представлен широкий диапазон возможностей поэтессы – лучшие, самые яркие грани ее творчества. Кажется, автору подвластны все стихотворные формы – от силлабо-тоники до верлибра. Но в сборнике есть еще и проза – точнее, балансирующие на стыке разных жанров короткие рассказы. Их вполне можно назвать визитной карточкой Нины, фактически создавшей новый жанр – прозопоэзия, или поэзопроза.

Так что слово «показательная» можно понимать и в буквальном смысле – такую книгу не стыдно показать ни журналам, ни издателям, ни рецензентам. В композиции тоже преобладает наглядность: ее трехчастность вполне объяснима. Первый раздел традиционен, он отчасти повторяет темы предыдущих сборников, второй состоит из прозаических миниатюр, а третий, самый яркий и самый новаторский, радует и формой, и содержанием. Читатель «ходит» по этим разделам, как по музейным залам, и в каждом находит что-то свое, особенное.

Но начнем по порядку – с первого «зала». Это своего рода исповедальня, в которой автор делится самым важным и сокровенным. Тема памяти, родных людей и родного дома, неразрывной связи с прошлым организует первый раздел, наполняя его сквозными образами-символами. И главный из них – родное Верховажье. В поэзии Нины это уже не реальное географическое место, а скорее мифологический Эдем – место духовной силы, где царствует вечное лето и неизменно молодыми остаются близкие люди:

*И голос ваши, и оканье, и поступь –
Всё помню и за тридевять земель.
А здесь и дождь нелово, – по-московски,
За спины прячась зданий и людей,
Лиши нежится в листве полупрозрачной –
Поскольку осень, солнца – не взахлеб, –*

*А там у вас, на склонах Верховажья,
Опять грибы и елей резкий взлёт.*

Время заканчивает свой бег и перетекает в сакрализованное пространство. Слово «перетекает» здесь ключевое. Одним из важнейших в творчестве Нины становится образ воды – он многозначен и многоголик, и напрямую связан с мотивом времени, в котором соединяются и ускользающее, и вечное. «Зарастает тропа дождями высокими – до небес», «забудь про небо – здесь одна река»... В этих и многих других строках вода – сама жизнь в ее неизменности, повторяемости, обращенности к своим истокам. Показательно, что река неотделима от неба, сливается с ним в единое целое. Это некое средоточие мира, макро- и микрокосм одновременно. Здесь смысл существования лирической героини обретает иной, божественный, оттенок. Ее частная судьба оказывается включенной в общую картину мироздания, в непрерывную родовую цепь поколений.

*Когда вокруг тебя одна река
Вся даль и высъ, и этого довольно,
То слышен гул, несущий колокольни
Сквозь летоисчисленья и века.*

Нина Баландина как никто другой осознает свой жизненный путь не в его единичности, исключительности, а в его неразрывном единстве с прочими судьбами. Здесь нет ни тени эгоцентризма – зато есть осознание того, что с нашей смертью время не останавливается и дорога не обрывается. Потому что мы – всего лишь звено единой цепи бытия, незаменимый фрагмент вечно движущегося колеса сансары. Но в этом – залог бессмертия:

*Хожу лишь там, где рядом есть сосед,
Чтоб убедиться – мы еще земные:
Рука в руке, след продолжает след
И все мои любимые – живые.*

*Но время обозначит мой черед
Вступления в оставленные выси.*

*И будет Бог... и кто-то подберет
Моих миров восторженные мысли*

Примечательно, что разделы книги перекликаются друг с другом на уровне ключевых мотивов и образов. Так, идея преемственности жизни как эстафеты также продемонстрирована в одном из лучших стихотворений третьего раздела и всей книги в целом. Это верлибр «Черепаха». Сам образ черепахи на поводке обретает глубоко философский, космически масштабный смысл.

Черепаха медленно ползёт по дороге, держась за её поводок.

Сдерживая дорогу, чтобы не слишком торопилась, – у неё ещё есть время.

Иногда черепаха позволяет себе даже отдохнуть.

И дорога тоже замирает, позволяя ей привести свои мысли в порядок.

Черепаха думает: я – время, потому что оно закончится вместе со мной.

Дорогу интересует, кому потом перейдёт поводок.

С кого начнётся новое время, полное неизвестности...

Изначально сюжет отсылает нас к знаменитой апории Зенона об Ахиллесе и Черепахе. Суть ее заключается в том, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале движения черепаха находится впереди. Это значит, что все в мире относительно и что движение никогда не закончится. Сколько бы черепаха ни размышляла о том, что вместе с ней закончится и время, и путь – это размышление окажется ошибочным. Дорога будет думать, «кому потом перейдёт поводок. С кого начнётся новое время, полное неизвестности». Не знаю, была ли у Нины Баландиной такая цель, но в образе рефлексирующей черепахи она как будто изобразила и саму себя, и все человечество, не всегда в полной мере осознающее непрерывность бытия и себя в нем. До нас и после нас всегда будут другие поколения – предки и потомки. И наша задача – сохранить память об одних и передать ее другим, чтобы цепь никогда не прерывалась.

Об этом почти все стихи данного сборника. И ценно, что в третьем разделе память рода перерастает в общекультурную память. Отсюда столько перекличек с другими эпохами и лучшими их представителями. Многие тексты написаны как ответные реакции на живопись знаменитых художников. Не случайно эта часть книги называется «Сопричастность». Автор не просто сопричастен заинтересовавшим его объектам и явлениям культуры, но способен проживать ситуацию изнутри, додумывать ее и создавать на основе увиденного свою собственную историю.

Трогательна и прекрасна любовь художника и Триумфальной арки – своеобразный диалог с Эженом Гальеном-Лалу, создателем одноименной картины. Нина Баландина видит не только то, что изображено на полотне, но и то, что могло бы потенциально произойти внутри него, за его пределами. Объекты оживают, вступают во взаимодействие с реальностью, говорят с нами живым языком истории:

*Она всегда была твоей,
Не зависимо от того, где в это время находился ты.
Она ждала тебя,
Вглядываясь в каждый трамвайчик, пробегающий мимо.
Как влюблённая, загадывала встречу с тобой...
Чтобы как можно дольше быть рядом.*

*Менялась мода, годы неторопливо неслись мимо,
А вы всё не расставались.
И это походило на сказку.
Сказку, которая начиналась на Площади Звезды.*

Верлибр здесь выбран чрезвычайно удачно – автор достигает высокого уровня мастерства в работе с этой поэтической формой и говорит с читателем свободно и легко, поскольку мысли и фантазии уже становятся тесно в границах силлабо-тоники.

И уже абсолютным мифотворчеством становится зарисовка, написанная по мотивам рассказа Хемингуэя «Старик и море»:

*Чаще всего звёзды застревали в прорехах его сознания в виде рыб.
В зависимости от того, как Старик прищуривал глаза,
Насколько плотно смыкал ресницы,*

Эти рыбы меняли свой облик.

Звезды, ассоциируемые с рыбами, становятся не только объектами мироздания, но и отражением внутреннего неба старика. Сантьяго всю свою жизнь был моряком – Море было его Богом, то милостивым, то грозным. Вспомним и то, что рыба – древнейший христианский символ. Греческое слово «рыба» — ΙΧΘΥΣ («иихтис») — представляет собой аббревиатуру фразы «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель»:

Так формируется индивидуальная картина мира главного героя, его особая пантеистская религия:

Как хорошо, что нам не приходится убивать звёзды, – думал Старик, В очередной раз выходя в Море...

Отдельного внимания заслуживают короткие рассказы второго раздела. В предыдущих книгах Нины Баландиной они тоже встречались, но были более однородными в жанровом и содержательном смысле, касаясь преимущественно темы памяти и любимого Верховажья.

Здесь же они поражают своей тематической и жанровой разноплановостью. Есть и будничные зарисовки, и притчи, и даже сказки в духе Андерсена. И за каждой историей отчетливо слышится авторская интонация: то лирически проникновенная, то шутливо-ироничная, то с оттенком легкой ностальгии. Примечателен, к примеру, разговор по телефону одной тетеньки, «подслушанный на лавочке». Очень животрепещущий, на злобу дня – как говорится, из самой гущи событий.

Вот моя меточка и звонит опять. Вопросы по перемирию озвучивает, а с той стороны отвечают так, словно правитель их извелся весь, призывая нас к окончанию этого безобразия. Будто бы это мы в позу встали, а они все такие белые и пушистые. Да и как иначе, если мы по детской площадке специально попали, а там – о, ужас! – двадцать детей убило, да еще десяток взрослых... не считая собаки.

Что и говорить, в чувстве юмора (правда, с изрядным оттенком горечи) автору не откажешь. В жизни подобные разговоры приходится слушать каждодневно, а Нина внимательна к деталям и способна ухватить

из повседневных событий самое важное, симптоматичное. Например, витающие в воздухе мысли и настроения. Но богатая фантазия и склонность к философским обобщениям тут же переносят рассказчицу в иные сферы, далекие от злободневного, но близкие к вечному. Так появляется двор, у которого были дети, чьи имена он помнил наизусть:

Но только когда становилось совсем уж темно, перед тем, как заснуть, он позволял себе как бы выдохнуть вслух, никого не забывая, эти имена: Лешка, Настенька... Димка... все мои... мои... И мы слышали его.

А вот Тросточка, которая на самом деле была «*обыкновенной палкой, купленной в медтоварах для особо немощных и болезных*». И кто бы мог подумать, что в этой палке неожиданно обнаружится склонность к творчеству. И уж совсем как старую знакомую встречаешь ёлку, не желающую лежать в пыльной коробке, в темноте. Каждый рассказ – целая жизнь, заключенная в несколько строк. Автор умеет быть лаконичным, но при этом ненавязчиво делится с читателем своими мыслями и житейской мудростью. Из такой простой, даже заурядной ситуации, как вязание пледиков, которые надо «раздарить до последнего», извлекается весьма привлекательная мораль:

А теперь сок выпит, а новый плед так в зачаточном состоянии и затерялся где-то. Может, лучшее-то не впереди, а именно то, что с тобой рядом – сейчас.

Вроде бы и мысль не новая, но поневоле заостряешь на ней внимание, мысленно с ней соглашаешься.

Нина Баландина – уже зрелый автор, но в ее творчестве, и в поэзии, и в прозе, есть какая-то особая легкость, юношеский задор и жизненный оптимизм. Возможно, это связано с удивительной способностью осознавать подлинный смысл своего существования и пребывания на этой земле.

Все мы – немного черепахи на поводке, но если знать заранее, что с кого-то, кому будет однажды передан этот поводок, начнется новое время, путь будет казаться иным и наполненным особым смыслом:

*Черепаха не смогла достойно сформулировать, что это такое.
И потому просто продолжила свой нескончаемый путь.
Только немножко резче натягивала поводок и медлила... медлила...
Может, и в самом деле время и путь едины.
И тогда образуется будущее – наша бесконечность.*

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, КРИТИКА

Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН. Человек вопрошающий. *Предисловие к книге Елены Севрюгиной «Внутри литпроцесса».* (М.; СПб.: "Издательские Технологии"; «Пальмира», 2025. – 718 с. – Серия «Пальмира – эссе»)

У поэта, эссеиста, критика, кандидата филологических наук Елены Севрюгиной есть удивительное свойство, крайне редко встречающееся у её собратьев по критическому ремеслу. Оно даже важнее, чем охват максимально разнородного материала, от прозы и поэзии до эссеистики о драматургии, от критики и переводов до детской литературы и пародий; от книг до журналов и альманахов, от литературных вечеров, конкурсов и фестивалей до литературно-критического проекта «Полёт разборов», имеющего лишь устную да электронную форму. Благодаря одному только этому книга обещает стать надёжным путеводителем по многообразию современной словесности на русском языке (Елена пишет почти исключительно о ней, о литературе в становлении, с редкими, но принципиальными отступлениями в классическое – русское же – XIX столетие: Островский и Тютчев). Но едва ли не важнее всего этого – изначальная, принципиальная готовность критика искать в рецензируемом тексте преимущества и достоинства, не просто понимать, но и принимать каждого из обсуждаемых авторов и искать ему места в больших контекстах не только русской, но и мировой литературы.

Не говоря уже о систематическом отслеживании автором книг, вышедших и в провинциальных издательствах (уж наверное маленькими тиражами) – в Ярославле, Волгограде, Смоленске, Ижевске, Красноярске, Казани, Рязани, Тольятти..., и за пределами нашей страны – в Украине, в Канаде, – и в маленьких, бывших частных издательствах (вроде «ИП Пермяков С.А.», «ИП Коняхин А.В.») и даже в самиздате (на «Литресе»), если вдруг там попадается на глаза что-то стоящее. Без внимания критика у этих изданий шансы стать известными общероссийскому читателю были бы очень невелики. Между прочим, таким образом литературная жизнь, происходящая на русском языке, предстаёт – где бы она ни происходила – как единое целое.

И да, Севрюгина открывает читателю (сколько-нибудь массовому – все вошедшие в книгу тексты публиковались в бумажной и электронной периодике, – кроме разве тех, что стали предисловиями к книгам)

множество новых имён. Упраздняет провинциальность — ставя региональных авторов сразу же в глобальные контексты.

Читатель наверняка заметит, что во всей этой громадной книге нет ни единой отрицательной рецензии: сама порождающая их позиция чужда критику, поскольку видится ей неконструктивной.

Хочется обратить особенное внимание на то, что Севрюгина, и сама практикующий поэт, собирает подробную картину современной литературной жизни на русском языке. Многие ли заняты сегодня такой работой, да ещё систематически? Сколько бы ни твердил автор в своей скромности, что «о современном литературном процессе, поскольку он происходит буквально на наших глазах, говорить и судить трудно», — она выполняет именно эту трудную — на грани невозможности — работу. Каждый из обсуждаемых ею участников литературного процесса представлен в книге не иначе как в совокупности связей, синхронических и диахронических, выходящих за пределы и нашего столетия — так Бориса Кутенкова автор видит как наследника не только Пастернака и Мандельштама, но и Тютчева, и Пушкина, — и русской литературы как таковой, и литературы вообще. Так, например, Вера Зубарева оказывается в одном контексте с Габриэлем Гарсиа Маркесом, Галина Булатова — в родстве с Омаром Хайяном, Дмитрий Воронин — с Уильямом Фолкнером, Андрей Тавров ведёт диалог с Фридрихом Ницше, Влад Пеньков наследует «великому, милосердному» Джону Донну, Антон Боровиков — Гансу Христиану Андерсену, Сергей Сумин — не только испанскому писателю эпохи барокко Франсиско де Кеведо, но и даже не поэту или прозаику, а архитектору — Антонио Гауди, у Нади Делаланд обнаруживается связь, с одной стороны, с Харуки Мураками, с другой — с Гийомом Аполлинером, а в детской (казалось бы) книге Анны Маркиной узнаётся влияние не только Антуана де Сент-Экзюпери, Туве Янсон, автора «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс и создателя Питера Пэна Джеймса Мэтью Барри, но и самого Данте. Не говоря уже о том, что критик усматривает неочевидные связи и между современниками, — так, в прозаической «Кукольне» Анны Маркиной она узнаёт «очевидный отсыл к “Хвойной музыке” Евгении Барановой», который «сближает автора и его героя, помещает их на одном поле словотворчества».

Видно, что Севрюгина — счастливо свободная от соблазнов соперничества по отношению к стихотворцам-современникам — читает поразительно много и удерживает в поле внимания поэтов максимально

разных, которые, кажется, ни в каком другом поле не ужились бы друг с другом. Она видит сегодняшнюю и здешнюю поэтическую жизнь не просто как целое, но как систему, пронизанную общими закономерностями – не только с иными формами словесности, но с культурой в целом, и не только здешней (и вот этой внимательной, понимающей, доверяющей многохватности нам, коллегам Елены, несомненно стоит у неё учиться).

При всей этой восприимчивости и отзывчивости, завидно близкой к универсальной, у автора есть отчётливая шкала незыблемых ценностей, с которой и соотносится каждый из обсуждаемых ею книг и текстов. И это ценности не только эстетические, но, глубже, метафизические. (Слова «духовный» и «дух» у неё весьма частотны, даже, пожалуй, избыточно, – оно появляется и там, где достаточно было бы говорить о «внутреннем» или «воображаемом».) Всякий раз критик обращает внимание на общую картину мира, из которой исходит анализируемый автор.

Среди этих ценностей прежде всего должна быть названа способность рецензируемого текста указывать за пределы данного здесь-и-сейчас (даже когда это чистейший добротный реализм, – Севрюгина охотно и внимательно рецензирует и такое), на основы существования, данного нам в чувственном опыте. Интереснее прочих критику те авторы, что, не выпуская из внимания реального, идут от него к реальнейшему, «единственно подлинному» (слово «подлинный», как не раз заметит читатель, – среди характерных в её критическом лексиконе); стремятся «обрести подлинное звучание сквозь преодоление земного, материального»; «заглянуть “по ту сторону” бытия, в запретную зону, где все видимые формы материи преобразуются в нечто иное и обретают сакральный смысл». По крайней мере, те, что чувствуют «тоску по возвышенному, попытка увидеть сквозь бытовое, повседневное краешек иной жизни, домыслить прекрасный образ».

Так, достоинство поэтического сборника Евгении Джен Барановой «Хвойная музыка» Севрюгина усматривает в «бегстве от обыденности в мир вечно звучащий, единственно возможный и единственно подлинный», а также в том, что три части, на которые разбита книга, самой своей тройственностью очерчивают «онтологическую модель художественного пространства, в центре которого – человек мыслящий, человек вопрошающий, не довольствующийся только поверхностным знанием о мире, но стремящийся постичь его законы и первопричины». Борис

Кутенков важен ей своим упорным стремлением «заглянуть за грань, содрать со всего явного и видимого кожу, а следом за ней и всё остальное – сухожилия, кости, мышцы, мясо...», – за грань всего, «что мешает прямому общению с истиной и Богом» и «препятствует обретению своей подлинной бессмертной сущи». Или хотя бы просто – видящие «себя одним из звеньев бесконечной цепи поколений» (это о поэте и прозаике Галине Булатовой), а «свою глубоко личную историю» как «неотделимую от истории человечества» (это о молодом поэте Марии Затонской). А вот как Севрюгина прочитывает, казалось бы, тихую женскую лирику Софьи Максимычевой: «В простой мифологеме женского счастья, ограниченного уютом домашнего очага, есть высшая мудрость и высшая правда». Эти высшие мудрость и правда становятся видны критику прежде всего потому, что ищет их и она сама.

(Кстати, Максимычева – один из наиболее интересных Севрюгиной поэтов, её книгам посвящены в сборнике целых шесть (!) рецензий – кажется, больше, чем кому бы то ни было другому; помимо этого, её творчество в целом автор анализирует в эссе «Пространство внутреннего света». Рецензии на самых важных для себя авторов, к которым она возвращается не раз, критик объединяет в самостоятельные разделы: «О книгах Софьи Максимычевой», «О книгах Веры Зубаревой», «О книгах Бориса Кутенкова».)

Из сказанного уже понятно, что Севрюгиной интересны прежде всего, во-первых, поэты-мыслители, во-вторых, поэзия как мышление, как выполнение философской по существу работы другими средствами. Разговор о таких поэтах становится для критика поводом высказать собственные принципиальные мысли о сущности их дела: «поэт – сам воплощённая речь, ничем не связанное и вечное слово как непрерывный акт творения, мостик, зиянье, устремлённость в “долгожданное ниоткуда”. И подобным образом утверждается парадоксальная истина: не-быть значит гораздо больше, чем быть».

Её вообще интересует вечное – пожалуй, больше социального и актуального, – то, что наш прах переживёт и тленья убежит. Даже говоря о пародиях (казалось бы – жанр до того прикладной и сиюминутный, что чуть ли не суэтный), она не может не говорить и об этом: «пародия для поэта – это возможный путь в бессмертие».

(Это, однако, не значит, что актуальное её не волнует. Ещё как волнует. Обратим внимание на радость, с которой критик открывает книгу

писателя и бизнесмена Максима Привезенцева, «посвящённую истории создания и падения крупнейшей российской строительной корпорации», отмечая, что «в наше время найти книгу, посвящённую актуальным вопросам современности и при этом имеющую художественную ценность, крайне сложно», – а вот же нашлась! По поводу того же Привезенцева она восклицает: «...до чего интересна история внешнеполитических отношений у нас в стране!». И вообще, как подчёркивает критик, «хороший, умный, вдумчивый реализм никто не отменял, потому что прежде чем создавать новые альтернативные миры – было бы не лишним разобраться в старых, давно обжитых среднестатистическим обывателем».)

Севрюгина вообще мыслит крупными категориями: «Истинный творец несёт ответственность за свои творения не только перед самим собой, но и перед всем, что принято называть культурогенезом и онтогенезом». Это сказано в связи с поэтической работой Веры Зубаревой, но относится не только к ней.

Как известно, критика занимает в культурном поле промежуточное, пограничное положение, располагаясь отчасти на территориях журналистики и публицистики, литературоведения, самой литературы, а отчасти и философии; столько же, соответственно, существует и типов критиков. Севрюгина, «человек вопрошающий», как сказано ею о другом авторе, прослеживающая в анализируемых текстах не только их эстетически значимое устройство, но и жизнь идей, – относится к редкой разновидности критика-философа.

Критик ценит в обсуждаемых книгах также соединение различных традиций – которые она, между прочим, все видит – и, может быть, ещё острее, чем сами рецензируемые авторы, способные следовать традициям и вполне бессознательно, – в сочетании с индивидуальностью голоса; прослеживает их корни, уходящие в предшествующие культурные пласти. Так, в книге Софьи Максимычевой «Зелёная шаль» она отмечает, что сборник «отсылает к устоявшейся литературной традиции», и при этом «классика здесь гармонично уживается с постмодерном, а голоса поэтов Серебряного века, звука отчётливо, никогда не заглушают голоса самого автора», и обращает внимание на то, что характерный для поэта образ сада унаследован от Серебряного века, в частности, от Анны Ахматовой.

Ей интересны многосторонние личности, соединяющие в себе литератора с другими типами профессиональных позиций, обращаемыми

на пользу художественной словесности. Такова, например, Вера Зубарева, которой, по мысли критика, свойствен «особый тип мышления человека эпохи Ренессанса, для которого характерен синкетизм, органический сплав научного и культурного знания о мире» (и действительно, Зубарева, поэт и прозаик, – ещё и «учёный, исследователь, профессор Пенсильванского университета, создавший уникальную теорию “безрубежья”»). Таких авторов Севрюгина анализирует с особенной пристальностью: Зубареву она рецензирует трижды – и как поэта, и как прозаика, и как переводчика, а её повести «Школьный двор» посвящено целых две разных рецензии (как, впрочем, и «Истории Мираксздания» Максима Привезенцева – кстати, тоже не только прозаика, но и бизнесмена, историка, экономиста и политика). Человека той же эпохи – Ренессанса – критик видит и в Вячеславе Куприянове, «Гулливере, которому неловко и неуютно в стране лилипутов», «многочисленные разделы» книги которого «чем-то напоминают поэтические трактаты из различных областей знаний: это и космогония, и онтогенез, и астрономия, и даже история становления различных экосистем. Это и своеобразная антология русской и мировой истории и культуры. И всё пропущено сквозь призму индивидуального восприятия».

(Заметим заодно, что и самой Севрюгиной при разговоре о литературе один только филологический инструментарий – которым она вообще-то прекрасно владеет – кажется недостаточным, и она обращается к опыту других областей знания – например, к музыкальной терминологии. Вот при анализе текстов Бориса Кутенкова: «...единство звучания и художественного замысла достигается здесь благодаря наличию основной темы- увертюры и множественных её вариаций. Интерпретируя самого себя, автор “скрепляет” поэтическую материю своеобразными контрапунктами...». Читая же Вячеслава Куприянова, она, по собственному признанию, чувствует себя «учёным-естествоиспытателем, разглядывающим тонкий художественный замысел сквозь увеличительное стекло микроскопа».)

И не впору ли сказать, что чтение этой книги само по себе способно стать уроком крупности видения?

К эстетическим приоритетам Севрюгиной принадлежит цельность художественного пространства, гармоничная соединённость различных его частей (О Софье Максимычевой: «Образы дома и сада составляют единое художественное пространство книги – одно продлевается в другом,

проявляется в другом наподобие сообщающегося сосуда). Ей принципиально важна также соотносимость происходящего в анализируемых текстах с глубокими культурными основами («Любовная лирика обретает христианское звучание, развивая мотивы Ветхого и Нового завета» – о той же Максимычевой; в прозе Марианны Рейбо ей узнаётся «извечный сюжет мировой литературы, повторяемый не только в искусстве, но и в каждой частной жизни, и в каждом индивидуальном сознании», в котором, в свою очередь, видится «подлинная основа человеческого существования», – это об истории изгнания Адама и Евы из рая), с культурными архетипами и константами («В первую очередь возникает мысль о древе жизни, мировом древе – символе вселенской гармонии <...> древо становится аналогом женского начала: символом плодоношения, материнства и продолжения рода»; «ахматовский мотив извечного противостояния двух начал – мужского и женского»; в стихах казанской поэтессы Альбины Абсалямовой критику видится «мощный отсыл и к Девкалионову потопу, и к древнейшей мифологии, где вода является первоосновой всего сущего, первоэлементом бытия, с которого всё начинается и которым всё заканчивается». Севрюгина – ещё и критик-культуролог). В пределе, она обращает внимание на то, как рецензируемые тексты соотносят человека со всем миром вообще. Отсюда характерные для её критического лексикона слова «мироздание», «космос», «космический миропорядок», «вселенная», «бытие» и – применительно к человеческому миру – «микрокосм».

По большому счёту, материала здесь на целую монографию о литературных процессах и тенденциях первых десятилетий XXI века, на большое систематическое исследование, а то и не на одно. Дерзнём надеяться на то, что хотя бы одно такое исследование автором ещё будет написано.

Вера КАЛМЫКОВА. Моей полки прибыло, или О неслыханной простоте, цветущей сложности и потерянном я...

I.

Бытие устроено парадоксально. Литература, переписывающая его на человеческий, отражает эту системную особенность. В 1825 г. в стихотворении «19 октября» Пушкин писал: «Прекрасное должно быть величаво». А в следующем году, в мае, в письме к П. А. Вяземскому, – «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата».

Во-первых, это отдельное стихотворение, во всяком случае, начало.

прекрасное должно быть величаво
поэзия должна быть глуповата

Пусть продолжит, кто горазд...

Во-вторых, *величаво* и *глуповата* – контекстные антонимы.

Вы таки будете смеяться, но они друг друга не отменяют. Такова природа парадокса.

Жаль, нет машины времени и нельзя хоть на недельку перенести Юрия Тынянова сюда, к нам. Посмотреть, как он отреагировал бы на ситуацию, когда поэтов примерно столько же, сколько читателей, и ещё столько же и *полстолька* непоэтов, т.е. людей, в высоких мечтах о литературном поприще создающих нечто стихоподобное.

Последняя категория составляет некоторую сложность для критики, ибо в наше демократичное время, когда каждый имеет право и никто никому не должен, приходится объяснять гражданам, пребывающим в *надежде славы и добра*, что грамматика русского языка – штука деспотичная и неотменимая никакой демократией, рифма кровь-любовь нежелательна, да и глагольные инфинитивы лучше не помещать на конце строк...

Однако совсем другое дело – запросы людей профессиональных, недурственно пишущих, заслуженно отмеченных премиями. Тут появилось плохо забытое старое.

...На презентации книги Алексея Ильичёва «Праздник проигравших» (выпущена в 2025 г. издательством «Выргород» в мемориальной серии «Поэты антологии “Уйти. Остаться. Жить”») **Марина Марьяшина**, хороший поэт и лауреат литературных наград, в

том числе последнего «Лицея» и премии имени Андрея Дементьева, сказала: «Книга меня действительно поразила честностью и отсутствием словесных наворотов». О поэтической *честности* поговорим позже. Для начала – что имеется в виду под *наворотами*, хотелось бы знать.

В стихах самой Марьиной навскидку вот здесь:

Молчит Мария. Рыба спит в реке.
Собаку вдоль реки на поводке
С утра пораньше прогуляться тащит.
И сквозь Марию время так сквозяще,
Как форточка на зимнем сквозняке, –

есть навороты или нет? По-моему, да. Чтобы понять, что гулять собаку тащит не рыба, а Мария, следует вернуться в начало первого стиха, и это очевидный синтаксический наворот. Сравнение времени с форточкой (пастернаковское?..), а потока времени с зимним сквозняком не только не из области обыденной речи, но и в поэтической свежи, как этот самый сквозняк. И, если уж время *сквозяще сквозь*, то Мария делается прозрачной, бестелесной.

«Праздник проигравших» Алексея Ильичёва начинается вот таким стихотворением:

Как рыба режет лёд
Волшебней чем она
Меня к себе берёт
Другая сторона

Тебя здесь тоже нет
Не мучайся ничем
Смотри какой тут свет
В каком идёт лучше

Смотри или закрой
Глаза и не смотри
Пока горит второй
У первого внутри

Труднее опоздать
На свадьбу, чем открыть
Глаза и увидать
Как это может быть

Всё здесь волшебство: рыба, режущая лёд (кстати, сродни сквозящему времени у Марьяшиной), другая сторона (и ведь не сказано, сторона чего – вообще другая, сама по себе), свет в луче, луч в луче – и, опровергните меня, по-моему, всё это *навороты*.

Совершенно правомочные в поэзии. Более того: без них она застыла бы и потеряла самое себя. Более и этого: если поэзия остановится на каком-то одном состоянии языка, синхронном моменту творчества, то язык перестанет развиваться.

Потому что, если разобраться, второй луч физически присутствует в первом, но ты поди скажи об этом! И поди поищи источник, кроме поэзии, откуда можно было бы это узнать.

Не бывает никаких *наворотов*. Всё тот же Тынянов писал, что поэтический язык усложняется по мере роста потребности поэта в изложении сложности мира в отдельно взятой поэтической строке и стихотворении, представляющем собой (Тынянов и Мандельштам вступают дуэтом) *чудовищно уплотненный сгусток* перворождённого смысла. Появившегося вот сейчас, в данном произведении, и до сего момента не существовавшего.

Если же некто попытается пойти другим путём, выдумав какую-нибудь особую *навороченную* поэтику и начав писать по её законам, тогда поэзии, скорее всего, не получится – именно потому, что в словах не будет *жизни*, той самой личностной *правды* («честности», как сказала Марьяшина), ради которой мы пишем и читаем всё это.

Те, кто думает, будто «Чёрный квадрат» или «обещур» – конструкты, жестоко ошибаются: они не гомункулы, а живорождённые существа искусства. За потомство не отвечающие. Никогда настоящий поэт не знает, каким будет его стихотворение – ну, кроме тех редких случаев, когда моргнул-повернулся – и вот оно перед тобой целиком, знай записывай.

Есть, правда, пример – поучительнейший! – когда сам поэт собственную *цветущую сложность* (выражение философа Константина Леонтьева) осознанно поменял на *неслыханную простоту*. Борис Пастернак добросовестно переписывал ранние книги стихов. Будь моя

воля, издавала бы параллельно и то, и другое. Там поэзия и здесь поэзия. Всё остальное – в голове автора. Имеет право! Но и читателя нельзя лишать радости.

Однако посмотрим с другой стороны.

Не так давно мне досталось настоящее сокровище, из редчайших, – читательское свидетельство о поэтическом впечатлении. Моя собеседница открыла «Избранное» Николая Рубцова, одного из известнейших наших поэтов второй половины XX века. И каково же было её изумление, когда выяснилось, что подряд его стихи читать ей сегодня... неинтересно. Что они в большинстве утратили свежесть, кажутся однообразными: пятнадцатая берёзка видится избыточной, душевые метания не вызывают ответного смятения... Так бывает, когда поэт в речевом плане *остаётся в своём времени*.

* * * *

Максим Калинин, один из наиболее интересных наших поэтов поколения 1960–1970-х годов рождения, не так давно подготовил и выпустил **«Полное собрание стихотворений» Петра Бутурлина** (М.: ОГИ, 2024). Граф Пётр Дмитриевич Бутурлин (1859–1896) – фигура столь же важная, сколь и неизвестная ни широкому, ни профессиональному читателю: он предвосхитил поиски нового поэтического языка в эпоху Серебряного века и повлиял на развитие сонета в нашей словесности. Бутурлин принадлежит к поэтам безвременья, когда умами правил Семён Надсон – Блок назвал его стихи «поучительным литературным недоразумением» (сколько поучений!). То поколение можно назвать *несформированным* – к нему принадлежали Арсений Голенищев-Кутузов, Аполлон Коринфский, Константин Льдов, Николай Минский, К. Р. (Константин Романов), Александр Фёдоров, Константин Фофанов, Семён Фруг, Дмитрий Цертелев и др.

Итальянец по рождению, Бутурлин русского в детстве не знал: «Родился я, мой друг, на родине сонета...». Но выучил. Правда, сначала попробовал себя в английском, публиковался под псевдонимом Френсис Эрл, но оставил это поприще ради «отечества таинственных былин» и его языка. В письме к Карло Плаччи от 28 сентября 1885 г. звучит неприкрытая радость: «Френсис Эрл умер, окончательно и бесповоротно, и не воскреснет никогда <...> Вместо него родился русский поэт – лучший, чем он, – так что я не в проигрыше. Поймёшь ли ты когда, насколько я рад

этой перемене!!!!.. С каким воодушевлением, с каким упорством я работаю – только теперь я постиг, насколько прекрасны искусство и творчество».

Итак, с 1885 г. Бутурлин писал стихи только по-русски. Калинин обрисовал тогдашнюю литературную ситуацию. Отечественная изящная словесность «перебивалась с Надсона на Фофанова, инерционно почитались библейски бородатые Фет, Майков и Полонский, а символисты – Бальмонт и Брюсов – только готовились выйти на свет, хотя в Царском Селе уже творил “без всякой славы” Иннокентий Анненский». М. Л. Гаспаров считал Бутурлина «русским парнасцем» – уникальная ситуация у нас, – а поэтику «парнасцев» Максим Калинин объяснил буквально в нескольких словах: «искусство для искусства при искушённости стиха и оглядке на древность».

Бутурлин умер в тот год, когда Валерий Брюсов выпустил второе издание книги «Chefs d’oeuvre» – русский символизм уже можно считать родившимся, его предтеча и его культурный герой хотя бы во времени совпали. Памяти старшего младший в 1898 г. посвятил стихи – сонет, разумеется:

Придёт к моим стихам неведомый поэт
И жадно перечтёт забытые страницы,
Ему в лицо блеснёт души угасшей свет,
Пред ним мечты мои составят вереницы.

Но смерти для души за гранью гроба – нет!
Я буду снова жив, я снова гость темницы, –
И смутно долетит ко мне чужой привет,
И жадно вздрогну я – откроются зеницы!

И вспомню я сквозь сон, что был поэтом я,
И помутится вся, до дна, душа моя,
Как море зыблется, когда проходят тучи.

Былое бытие переживу я в миг,
Всю жизнь былых страстей и жизнь стихов моих,
И стану им в лицо – воскресший и могучий.

Многие стихи Бутурлина не пережили своё время. Увы, нам сейчас неинтересны рассуждения на темы, затронутые в сонете «На светскую женщину» – хватает и своей злободневной социальной публицистики в стихах, да и лермонтовскую «беззаконную комету» никому, увы, не превозмочь, есть вещи *окончательные*, закрывающие тему. Но никогда не умереть сонету Бутурлина «Уныние» и подобным.

Бывают дни, когда в душе усталой
Всё вымерло, – как в час очарованья,
Меж чёрной ночью и зарёю алой,
Стихает мир без тьмы и без сиянья.

В те дни нет хмеля радости удалой,
Печали нет во мне, как нет желанья,
И сказкою докучливой и вялой
Звучат уму припевы упованья.

О, если б смерть холодными устами
Моих горячих уст тогда коснулась,
Отдал бы равнодушно я лобзанье! –

И даже не жалел бы в миг прощанья
О том, что жизнь моя тянулась,
Для всех ненужной, долгими годами.

Здесь слышна пластиичность поэтической речи, каждое слово будто перетекает в соседнее, создавая единый звуковой образ помимо образа визуального и той самой *поэтической идеи*, которая высказана словами и не имеет ничего общего с обыденными выводами и императивами. Такой подход к сочинительству был подлинным прорывом в 1880-е гг., когда под воздействием критиков-utilitarists, видевших в поэзии лишь одно из средств социального переустройства, отечественные авторы перестали задумываться о красоте высказывания и заботиться о поэтических идеях. Максим Калинин отметил: «На фоне общей технической небрежности новых поэтов письмо Бутурлина выделялось грамотностью и пластиичностью стиха, заслужив при этом неизбежное обвинение в “холодности”».

Да! Так и есть, слово *найдено*. Это у нас уже традиционно: как только поэтический текст представляет собой нечто *сложносочинённое*, так сразу упрёк в холодности, *сделанности*, искусственности, придуманности etc. ждать себя не заставляет. И почему-то всегда лидерами мнений оказываются некие *прогрессивные* силы, на чьих знамёнах написаны великие слова *свобода, социальная справедливость, победа, патриотизм*, теперь вот *национальная идентичность*. И почему-то всегда оказывается ещё вот что: если поэт занят языком в большей степени, чем текущей социально-политической повесткой, значит, он не за свободу, не патриот, национальную идентичность отвергает. То есть косноязычные полуграмотные вирши честны, а профессионально отделанный катрен под подозрением.

Что за логика такая, умом понять не могу, иного органа не имею.

И что за изощренность – красиво и умно уклоняться и отпадать?..

Вслед за холодностью тянется ещё один упрёк – в *темноте смысла*, – правда, не так смело и раскованно он себя являет, ибо эта самая *темнота* освящена именем Осипа Мандельштама.

Историк литературы **Василий Молодяков** совсем недавно подготовил к печати «**Кротонский полдень**» Бенедикта Лившица (1886/87–1938) – книгу, ожидавшую издателя 97 лет и вышедшую, наконец, в «Водолее». Ещё один *как бы тёмный поэт с наворотами*.

Глубокой ночи мудрою усладой,
Как нектаром, не каждый утолён:
Но только тот, кому уже не надо
Ни ярости, ни собственных имён.

О, тяжкий искус! Эта ширь степная,
Все пять морей и тридцать две реки
Идут ко мне, величье заклиная,
И требуют у лиры: нареки!

Но разве можно тетивы тугие
На чуждый слуху перестроить лад,
И разве ночью также есть Россия,
А не пространств необозримых плат?

Как возложу я имя на поляны,
Где мутным светом всё напоено,
И, совершая подвиг безымянный,
Лежит в земле певучее зерно?

Уже мне вняты: дивное зачатье
И первый поиск звука в глубине,
Двух полюсов земных рукопожатье,
В младенчестве приснившееся мне, –

И в забытьи, почти не разумея,
К какому устремляюсь рубежу,
Из царства мрака, по следам Орфея,
Я русскую Камену вывожу.

Стихотворение написано в 1919 г., когда в стране бушевала Гражданская война, а в русской поэзии переживалась невероятная близость с материнской для России эллинской культурой. Это ощущение, очень конкретное и для Брюсова, и для Вяч. Иванова, не родилось просто так: оно было подготовлено лицейской, а позже гимназической программой изучения античной литературы, переводом «Илиады» Гнедича, антологической поэзией XIX в., тем же Аполлоном Майковым, той же *ветреной Гебой* Тютчева, – но оформилось как мировоззрение к Серебряному веку, и распад государственности не стал достаточной причиной, чтобы оно разрушилось. Ядро мировоззрения – преемственность между русским языком и эллинским, который вместе с буквами алфавита и именами олимпийцев передал Гиперборее-России смысловую тайнопись.

Приведу – с некоторыми купюрами – комментарий Молодякова к стихотворению Лившица.

Все пять морей и тридцать две реки. – Объяснить географический и / или нумерологический смысл этого конкретного указания не умеем. *И требуют у лиры: Нареки!* – Поэт выступает в роли Адама: «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт. 2:20). *Совершая подвиг безымянный, лежит в земле певучее зерно.* – Отсылка к евангельской притче о сеятели и семени

(Марк 4:3–20). *Дивное зачатье и первый поиск звука в глубине.* – Божественное происхождение поэтического искусства. <...> *Двух полюсов земных рукопожатье.* – Преемственность русской и античной традиций, взаимодействие и взаимопроникновение цивилизаций и культур Востока и Запада как ведущие темы поэзии Лившица в постфутуристический период. *По следам Орфея.* – У Лившица Орфей выступает не только как герой мифа, но как архетип Поэта, «Великий Посвященный» единой традиции <...>, владеющий поэзией как божественным искусством; эта трактовка восходит к Э. Шюре и Вяч. Иванову. «В этом ряду Посвященных Рама указывает лишь на вход в храм, Кришна и Гермес дают к нему ключ, Моисей, Орфей и Пифагор показывают внутренность храма, а Иисус Христос вводит в его святилище <...>» (Шюре. С. 15, 176, 183). «Орфей был, по мнению древних, “богословом” по преимуществу, учредителем мистерий (тайств), обеспечивавших спасение людям, и, что весьма существенно, истолкователем воли богов. <...> Именно Орфей открыл фракийцам, а затем и другим грекам, то, что необходимо знать о божественных вещах. Понятно, он в действительности никогда не существовал; но что же в том? Существовал орфизм, а последний был одним из самых любопытных явлений религиозной истории Греции» (Рейнак С. Орфей. Всеобщая история религий. Вып. 1. М., 1919. С. 5). Лившиц был знаком с античной традицией, связывающей Орфея с Аполлоном и в некоторых случаях называющей его сыном Аполлона: «Таким же великим героем в мифологии Аполлона нужно считать и Орфея. Однако он уже связан с выдвижением на первый план духовных сторон мифологии Аполлона» (Лосев. С. 304). См. также образ Орфея в стих. поэтов-современников от «Уныния» (1893) В.Я. Брюсова до «Баллады» (1922) В.Ф. Ходасевича.

Молодяков упоминает книгу Эдварда Шюре «Великие Посвященные. Очерки эзотеризма религий» (Калуга, 1914; репринт: М., 1991), которую Лившиц читал. И вообще комментатор всего-навсего прошёл по следам поэта – и расшифровал почти все *тёмные места* в его стихах, особенно отметив: «Отличительными чертами стих<отворений> являются визуальность и конкретность образов, хотя многие из них метафоризованы или прямо зашифрованы автором».

Но неужели никому, кроме комментатора, не интересно отправиться в путешествие по следам поэта?.. «Пять морей и тридцать две реки» – не может ли это быть Древняя Греция? Внимание: не Эллада, культурная область с VIII в., т.е. с Гомера и Гесиода, по II–I вв. до н. э., когда случилось римское завоевание, а именно *Древняя Греция* – предмет культурной рефлексии европейского мира после Ренессанса. Пять морей – Ионическое, Понт Эвксинский (Чёрное), Средиземное, Фракийское (Мраморное), Эгейское (его часть – Критское). Степи, упомянутые Лившицем, – Северное Причерноморье и южнорусская область. Вот насчёт рек затрудняюсь сказать – толковых карт днём с огнём не найти. Кстати, подземные мифологические реки, вполне возможно, тоже считаются…

II.

Пугает вот что: современный молодой поэт *ан масс* читать предшественников не хочет; разве что современники, а чаще всего только сверстники попадают в его читательскую орбиту. Ситуация, пожалуй, беспрецедентная: отечественная поэзия всегда была существом генетически книжным, рождалась в месте встречи *текста* (Книги Бытия) и *мира* (с сотворённого Богом).

Имеют место курьёзные случаи: приходится вмешиваться в ссоры, возникающие на почве... *реминисценций*. Рождается, допустим, у X некая метафора, а Y берёт её и разворачивает. И через некоторое время X обвиняет Y в... *плагиате*.

При этом X и Y – далеко не графоманы, отнюдь.

Александр Блок был реминисцентным поэтом. Мандельштам реминисцентен насквозь. И что с того? Что-то произошло с их авторскими голосами? Даже не охрипли... Михаил Бахтин всё сказал о диалоге. Так он в поэзии и осуществляется.

Мандельштам был рачителен. Он догадался, что язык – не подчинённое, а главное действующее лицо поэзии. И если один поэт что-то находит, а другой подхватывает – это приключение, в которое пускается – посредством подходящих агентов – сам язык. Вдобавок нет различий между *народным* и *авторским* словом, потому что оба они, когда только родились или устойчиво бытуют, становятся ничими, т. е. всеобщими. Об этом у **Михаила Гундарина** в книге «*Непоправимый день*» (М.: Синяя гора, 2024):

В Транквилиуме этом, Тропарёво,
ещё при позапрошлом короле,
едва сопротивлявшееся слово
полнеба мы тащили на пиле.
Усохли дни, зато набухли ночи,
ни слов, ни пил. И, честно говоря,
сегодня даже небеса не очень
подходят для тасканья словаря.
Бог помочь нам, дельцам и дилетантам,
катящимся с невидимой горы –
ладони добродушного гиганта.
Теперь и это в правилах игры.

Кстати, чистейший ведь *наворот*. И тема – что ни на есть насущная (ирония, можно смеяться): приключения языка. Максимально далёкая (лучше перестать смеяться) от социальной публистики, страшно близкая к *чуду*.

Хочешь, чтобы твоё слово осталось только твоим – молчи. Об этом «*Silentium!*» Тютчева. Одноимённый текст Мандельштама – о противоположном: *о связи*.

Кстати говоря, интересно, насколько же Мандельштам чётко определил своё место в поэзии *нашего* времени. Постоянно цитирую его слова из письма к Тынянову: «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в её строении и составе». И вот уже **Михаил Гундарин** открывает «**Непоправимый день**» стихотворением, в котором повесть «Египетская марка», закодированная как просто марка, выступает эталоном литературного качества:

Однажды переставший быть поэтом
Пьёт чёрный чай. Отчаиваться глупо.
Узнавший всё, он знает и об этом.
В его руках пластмассовая лупа.

Он смотрит на египетскую марку,
В надежде отыскать там запятую

Неправильную, мелкую помарку,
Что превратит бумажку в золотую.

Но куда бы современный поэт делся без *ничейного* слова, как, например, Гундарин – без считалки «Вышел месяц из тумана...»:

в этом омуте душа
хорошо играет в прятки
в небе нету ни гроша
только лезвие в подкладке

или

Первый снежок – в горле морозный нож.
Чёрный ледок – вывернешь сам карманы.

Можно говорить о сегодняшней литературной ситуации как возврате к ценностям модернизма через отторжение от принципов постмодернизма, пережитого нами, как выясняется, без особенных потерь. Может быть, нас действительно ждёт, как предрекает критик Анна Жучкова, метамодернизм, способный вернуть человечность в литературу. Я не спорю, но ощущаю иначе: мне кажется, наступил момент, когда человек, до зубов оснащённый благами цивилизации, снова переживает себя как голого на голой земле *бездны на краю* – и непосредственно перед лицом Всевышнего. Чисто экзистенциальная ситуация, литературные стили и даже geopolитические реалии ни при чём: какое-то время она незаметно формировалась, а сейчас явила себя в полноте, и попробуй сделай что-нибудь. Нечто подобное *осознанию русской Античности* сто с небольшим лет назад.

Невыносимое для человека *предстояние* поэта перед Всевышним опосредуется опять-таки словами и только ими:

Золотым октябрём наливается тусклая медь,
замыкается круг, но я знаю слова «умереть»,
нет, «остаться», «воскреснуть»,
о нет, говори, говори
дорогие слова подступающей к сердцу зари!

Созиатель Имён, Твоя правда, как прежде, тверда!
На пустой небосклон предрассветная всходит звезда
(М. Гундарин).

Христианская по сути потеря субъектности драматически остро переживается лирическими героями – и это понятно, учитывая психологическую среду, их породившую: наш современник есть наш современник, опыт и багаж у него какие есть. Однако показателен сам факт смирения и осознанность направленного движения. Автор может быть ироничен, но он не теплохладен. В книге Александра Правикова «Бульдог судьбы» (М.: Синяя гора, 2024) рефлексия направлена на несоизмеримость человеческой воли и Божьего промысла, и принятие такого соотношения, быть может, – самое ценное, что даёт наше время.

Мне кажется, самое трудное в христианстве –
Понять, что оно не когда-то, а вот сейчас.
Ты со смешным чудаком только что за рюмкой ругался,
И ты там, где был, а он – где Корчак и газ.

Синхронность происходящего на «луговине той, где время не бежит» (Мандельштам) и здесь, сейчас, где лирический герой Правикова ощущает себя «опёнком Бога», противоречит социальному опыту, научившему нас любить свой комфорт превыше самих себя. Ирония, свойственная Правикову и как будто унаследованная от постмодернизма, теперь перестаёт быть постмодернистской и даже романтической, служа средством самоадаптации в мире, устроенному – вдумайтесь: впервые с 1917 г.! – *правильно*, в согласии с *объективными* законами добра и любви, содержащимися в каждом сердце. «Душа человека – по природе христианка», – сказал Тертуллиан не то во втором, не то в третьем веке; мы можем похвалиться перед дедами знанием, где верх, где низ и что между ними, хотя платим за это знание ощущением собственной неустойчивости, по Евгению Баратынскому: «Как мне быть? я мал и плох; // Знаю: рай за их волнами, // И ношусь, крылатый вздох, // Меж землёй и небесами».

Доказательства? Если считать, как всегда бывало (см. комментарий Василия Молодякова к стихотворению Бенедикта Лившица), поэта своего рода сейсмографом, то вот несколько названий книг стихов: помимо «Непоправимого дня» Гундарина, это «**Нетвёрдый переплёт**» Наташи

Кинугавы (М.: Наша молодёжь, 2024) и «**Поклонение невесомости**» **Вадима Месяца** (М.-Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2024). Семантическая неопределенность в изобилии, что говорит само за себя...

Выручает, однако, всё та же парадоксальность *бытия как такового и бытия в литературе*. Всегда есть *другая сторона*, причём не привязанная к какому-то объекту – прав Алексей Ильичёв. Человек цивилизованный, утончённый, оказываясь в ситуации *предстояния*, обнажается как удивительно наивный, неискушенный. У **Николая Милешкина** в книге «**Жизнь удалась**» (М.: Делаландия, 2025) такие переживания нашли воплощение в верлибре – стихотворной форме, позволяющей с наибольшей *точностью* фиксировать моментальные *точечные* состояния, граничащие с прозрением:

* * *

жизнь
удалась
что бы ни случилось

* * *

я человек
простой
смертный
Божественный

* * *

осенний вечер
и Бог тебя любит

* * *

не хочу в землю
хочу в небо

Верлибр Милешкина, кстати говоря, – тот самый случай, когда *без наворотов*. Но написать такие вещи без потери поэтического качества удаётся редко. *Неслыханная простота* доступна и в более многословной и искусной силлабо-тонике. Бывает, что соединяются важнейшие темы –

поэтическое слово, простота и сложность, говорение и молчание и, наконец, смерть, причём неназванная, как бы внесловесная.

В слова играет голова,
И что я с ней поделаю.
А вот что: пёстрые слова
Пойду менять на белые.

Возьмите эту болтовню
И вместе с нею ту,
А мне отдайте слово-нию,
Простую наготу.

Я с ним во рту пойду домой
По улице пустой,
Как будто бы немой – немой
Счастливой немотой.

Мой белый камешек меня
Поднимет и со дна,
Когда во двор придёт она...
Ну знаете, она (А. Правиков).

Сопоставляя поэзию Михаила Гундарина и Александра Правикова, вспомнишь Петра Бутурлина: вот же было поколение людей, живших мало, умиравших мучительно, без лекарств, и при этом уверенных, что они *есть* и *живут*. Ещё одна грань парадокса: в субъектности наш современник не уверен, а в своей смертности – более чем. Отсюда обилие текстов о смерти, не имеющих ничего общего с привычным *кокетством обречённых*. И всё-таки данность пугающая, и от неё тоже хочется защититься, и голый человек подтягивает на свой краешек бездны все когда-либо помысленные вещи. У Гундарина это предметные детали: «Здорово умирал закат. // Медленно, по квадратам гас»; «кто-то проведёт веслом // по воде – по гладкой коже // мы же тёмное стекло // под прозрачное положим» (последнее стихотворение, кстати, называется «Рассвет» – и какова метафора!); «так и я – протянутая рука // стакан за мгновение до глотка – // оказался домом, из которого все ушли // монетой,

которую не нашли // снегом, счищенным до голой земли». Отстранение от себя, ничтожение – а по Виктору Шкловскому, *остранение* себя. А вот фрагмент стихотворения Гундарина, где речевое, предметное и смертное стянуты воедино:

Так бы нам петь да и петь скользя
По ускользающей в свой черёд
Маковке кованого гвоздя
Вбитого в шёлковый переплёт

Где за ударом опять удар
А безударные не в цене
Как и любой дорогой товар
На сохраненье отданый мне

Или у Правикова – в одном тексте *цветут сто приёмов как сто цветов*: тут тебе и интертекстуальность (да не с чем-нибудь, а с «Цветочками» Франциска Ассизского!), и ирония, и разговорный модус, и сопоставление речевых регистров, и номинация-деноминация, уфф, сколько можно.

На моём балконе, на балконном окне –
Просто дикие джунгли. Ну нет, но почти.
Гелиотроп зацветает, а лаванда нет.
И розмарин отказывается цвести.

Но мой любимый герой – тимьян
(так он себя зовёт, а сам чабрец чабрецом),
Лохматый кривой приземистый хулиган,
Крепкий духом и никакой лицом.

Дальше тут по логике пара строк,
Типа, всякая плоть как трава,
Какой-никакой философский итог...
А вот хрена с два.

Просто мне нравится, как эти цветы у нас

Проживают свои зелёные дни,
Не видят меня в упор и радуют нюх и глаз,
Не ведая про меня и думая, что одни.

У Правикова балконный элизий, у **Наташи Кинугавы** (псевдоним Натальи Баевой) в «**Нетвёрдом переплёте**» – аквариумный:

Мурлыкает аквариум, рождая пузыри.
В окно сочится зарево неутренней зари.
И выметает улицу без устали таджик,
И улица-красавица под окнами дрожит...

Раз дрожит, два дрожит, три дро-жит!
День прожит, год прожит, век про-жит...

В аквариуме рыбки, улитки и ракки...
Губастые улыбки, пурпурные зрачки.
Танцует элодея, дурманя зеркала,
И кто я здесь? И где я? Заре моя хвала –

Неутренней, нездешней, не видимой, не той!
Смелою по черешне сползает время: стой...

Как будто смена флоры на фауну может что-то изменить...

Наташа Кинугава задаётся теми же вопросами, что и другие поэты, разве что ставит их конкретнее и резче: «Кто я? Откуда я? На что гожусь? // Куда я? И сейчас – где нахожусь?». Её приём самоадаптации – умение смеяться, не иронизировать, а веселиться от души, по-детски, и это тоже форма *предстояния* («будьте как дети»). Другой выход – в оправдении переживаний, декодировке сложных смыслов, опять-таки сопоставлении регистров, как в стихотворении «Февраль, Великий пост»:

Чернила достаю и плачу (*Пастернак: «Февраль. Достать чернил и плакать...»*),

И не утонет в речке мяч (*Агния Барто: «Наша Таня громко плачет...»*).

Мы добываем соль-удачу (*явная аллюзия на евангельскую «соль земли»*)

И на плаву нас держит Плач.

Последний стих закрывает звукоряд на пла-, разговорное *на плаву* даёт необходимый переход между обыденным (плачу) и сакральным (Плач).

Сам псевдоним поэта – дань российской культуре, вот уже четвёртый век *уродняющей* себе всё, что она находит по сторонам света. Кинугава – название реки, текущей по острову Хонсю. Река неслучайна: текущая вода в русской культуре служит символом чего угодно в диапазоне от рождения до смерти, от блаженства до грехопадения. Так и Наташа Кинугава *переписывает* мировую культуру в буквальном смысле *от руки* («Ни-ни-ни, ни строчки // Я не напишу, // Если не прибегну // Я к карандашу»), не имея в виду ничего изменить или отменить – напротив, идёт только глубокое погружение, только перекодировка чужих ценностей в свои, как это свойственно русской литературе. Или поиск того общего, что неизменно повсюду:

Когда пронзительно шагают стрелки
Часов настенных по моим секундам <...>
За то я и люблю ночные ветры
Любой страны отчаянного мира.
Мне б выйти из тепла на волю, только
Я не одна теперь. Мне не избежнуть крова.

Предыдущее стихотворение – из более ранней книги **Наташи Кинугавы «Чувство пути»** (М.: Наша молодёжь, 2022). Бенедикт Лившиц вспоминается автоматически: «И разве ночью также есть Россия, // А не пространств необозримых плат?» А в тексте «Ночная» (так и хочется подставить родовое слово, но какое выбрать? Элегия? Улыбка? Я?..) все эти «Кто я? Откуда я? На что гожусь? // Куда я?» получают, наконец, ответ:

Улыбка лилии,
упругой, белоликой,
в трёх лицах,
отражающих луну –

*вот, что ты есть –
он подойдёт к окну,
посмотрит в сад,
и лёгкий ветер блики*

распустит сонными
движеньями по платью –
(вот, что ты есть),
и долго смотрит он,
но не выходит. Ты звучишь на тон
нежнее, выше – будто бы печатью

лицом прильнул к стеклу – и так стоит.
Но не выходит...
(Вот же, что ты есть!)
Ты для него в ночи благая весть,
А день приходит –
и твоя улыбка спит.
Улыбка лилии...
Селена и Лилит.

Интересно, кстати, что это *именно женская* лирика в самом конкретном смысле (феминисток попрошу сохранять законопослушность): лирическая *героиня* идентифицирует себя только в связи с фигурой мужчины, язык становится лишь *вторым* после него опосредующим звеном. Тогда как лирическим *героям* достаточно одной ступени – языка, женщина для них – объект, подтверждающий субъектность, но не бытийность...

* * *

Итак, вопрос Мандельштама: «Неужели я настоящий // И действительно смерть придёт?» – задают вслед за ним сегодня замечательные русские поэты, и очевидного положительного ответа, отметающего всяческие *неужели*, почти не слышно. Разве что в стихах **Вадима Месяца**, поэта, *переполненного бытием* и не сомневающегося в собственном существовании. При этом его рефлексия пространна и всеохватна, касается всего прожитого, всех встреченных, ушедших,

близких, едва замеченных – и всех мест, куда Месяца ни заносили крепкие, как у любого странника, ноги.

Иосиф Бродский сказал, что завидует чувству свободы, присущему Месяцу. Вероятно, *свобода и есть обладание бытием сполна*, а значит, способность разгадывать и открывать секреты чужих судеб и озирать их с космической высоты. Причём эта способность появилась у него не сейчас: книга избранного «**Поклонение невесомости**» включает произведения с 1992 года...

Покуда поэт остаётся молод,
он может поехать в любые гости.
Есть люди, чьи корни питает воздух,
лаская их до ледяного срока,
но и на суде при усталых звёздах
они не заслуживают упрёка.
Поскольку для памяти всех столетий,
что кружит, как голубь, на вольной воле,
дороже всего эти злые дети,
не знавшие век безысходной боли.

«Злые дети» – из раннего. Для сравнения возьмём недавнюю вещь, «Голос».

Из низкопробной тяги к волшебству,
что вызревает гулко в этом храме
всенощных бдений, скрытых в фимиаме,
пред тем, чтобы воскреснуть наяву,
Из детской просьбы прошлое вернуть,
меняя партитуры первых скрипок,
чтоб вывести к утру на новый путь
неотвратимость сделанных ошибок,
Из буриме, из карточной игры,
из уличного свадебного шума,
из цитрусовой тонкой кожуры,
что различимей всякого парфюма,
Из разговора, лживого как ночь,
из прихотей чужого увлеченья.

Поставь будильник, но рассвет отсрочь.
Мы не готовы на разоблаченья.
Мне беспринужденно нужен голос твой
как гул доисторического чрева,
словно предмет бездушный, но живой,
без вдохновения, радости и гнева.

Поэтика Месяца ассоциативна и многословна: он не страшится бесконечной череды однородных членов и отсутствия логической связи, он не заботится о тыняновской «тесноте стихового ряда» и не боится избыточности. В каком-то смысле он, быть может, продолжает литературную традицию *досоцреалистической революции*, когда Николай Тихонов, Илья Сельвинский или Николай Асеев писали не обинуясь, взахлёб.

Точно так же избыточны и верлибры Вадима Месяца. Слава Богу, что споры насчёт правомочности этой стиховой формы в русской поэзии, активные ещё в конце 2010-х, постепенно затихают. К сказанному выше в связи со стихами Николая Милешкина хочется добавить, что верлибр позволяет зафиксировать состояние прозрения, пришиплив момент переживания или осмысления несколькими словами, как булавкой бабочку. Если силлабо-тоническое стихотворение можно сравнить с высушеным в гербарии растением – и сравнивали, и Пушкин, и Фет, – то верлибр – смола, мгновенно капсулирующая фрагмент живого. Верификация – не изысканная рифма или выдержаный размер, а как раз их отсутствие – безыскусная на первый взгляд речь, над которой на самом деле поэт обильно пропотел, убирая лишние или неточные слова, соизмеряясь с правдой момента переживания. Редко кто из современных поэтов идёт по пути, избранному Милешкиным – *одно состояние = одно произведение*. Чаще бывает, что смола падает на несколько предметов, нанизанных на одну ось, проходящую несколько слоёв бытия – обыденный, эмоциональный, ментальный и др. Так построено и стихотворение «Зимы не будет» из книги Месяца «Блажь» (М.: Водолей, 2025):

Бабье лето – не время года,
а состояние женщины.
Яблоком пахнут шторы,
полдень рыжеет быстро

как царская водка,
в которою уронили кольцо.
Сегодня я понял,
что прошлое – это не память,
а – навык.
Самоубийцы
научат нас верить
в завтрашний день.

Месяц, повторюсь, многословен, но никогда не объясняет *ничего*, лишь разворачивает бытие лопастями веера в круг. Почему прошлое – навык, а веру в завтра преподадут самоубийцы, каждый читатель ответит сам (подобная смысловая незакрытость, незавершённость – ещё одна характеристика верлибра, в этом смысле стоящего ближе к «действительности», чем к «искусству» – а может, наоборот). Важно другое: ощущение бытийной свободы позволяет охватывать бесконечное количество явлений, не заботясь о сохранении жизнеподобной иерархии.

...Что же, моей книжной – материальной и электронной – полки прибыло: несколько сборников стихов, способных сказать, по моему глубочайшему убеждению, о нашей жизни больше, чем тексты иных жанров и направленности. Я вижу за каждой из книг человека – и конкретного, и любого. А ведь это и есть сущность лирики: сказать о себе так, чтобы сказать о каждом, всяком, *Другом*.

Между критикой и литературоведением. Авторская рубрика Риммы Нужденко

Римма НУЖДЕНКО. «Что я должна сказать, сыночек?» *Опыт прочтения прозы.*

О рассказах Марата Баскина «Дом с крыльцом» и «Немка» из книги «Рыжий чау-чау» (Lulu.com, 2024)

*Быть может, прежде губ уже
родился шёпот
И в бездревесности кружились листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.*

Осип Мандельштам

Читатели, познакомившиеся с прозой Марата Баскина, будут возвращаться к ней как к чему-то близкому и родному. Так возвращаются к любимым стихам или музыке, когда возникает потребность поговорить с близким другом, а он – далеко. Тогда ты открываешь страницы этой мудрой прозы, и жизнь снова начинает казаться яркой, и появляются силы набрать побольше воздуха и начать заново. Жанр этих текстов можно определить как рассказ, но, по словам критика Ольги Балла, они вряд ли попадут под внятное жанровое обозначение. Скорее им подойдёт слово «истории». В мир, частично придуманный, но такой яркий и живой, вводит читателя Марат Баскин, чтобы открыть ему тайны своего прошлого и дать надежду, что всё в этой жизни было не зря.

Автор приглашает нас в штетл (небольшое еврейское поселение) – место, не имеющее аналогов. Здесь родилась совершенно оригинальная культура, в которой свободно существовали три языка – идиш, русский и белорусский. В нём уживались несовместимые, казалось бы, вещи: чтение священных текстов и детская наивность, практицизм, лукавство и абсолютный абсурд. Но главное – дом, семья, дети – оставалось неизменным.

Приходит мысль, что книги автора можно без преувеличения назвать «энциклопедией жизни еврейского местечка». Читатель будто бы ходит из дома в дом, и каждая следующая история придаёт прозе новое звучание, создавая эффект полного погружения. Всё есть на этих страницах: грустное и смешное, ироничное и жуткое. Всепоглощающая

любовь и память о страшных днях оккупации и Холокоста, стальным лезвием прошедшего по судьбам краснопольцев. Ненависть и возмездие. Для тех, кто знаком с прозой Баскина, навсегда останутся в памяти звуки выстрелов в его родном Краснополье и звук падающих в ров комьев земли.

Отдельно стоят истории, объединённые одним горьким эхом: «Великой Отечественной войне посвящается».

* * * *

*«Блуждает выговор еврейский
На жёлтой лестнице
печальной»*

Иосиф Бродский

Среди текстов Баскина о войне значительное место занимают два рассказа. «Дом с Крыльцом» – история о судьбе и выборе, об извечной боли еврейского народа. Второй рассказ, «Немка», связан с первым общей судьбой и общими героями.

Эти рассказы – живая память, реквием по всем тем, кого перемололи нацистские лагеря смерти, по миллионам тех, кто остался в сталинском ГУЛАГе. Она, память, впечатана в нас своей невозможностью и своей страшной правдоподобностью одновременно. Это сочетание невозможности-правдоподобности мы увидим и в тексте. Автор использует метод подмены понятий для придания рассказам нового смысла.

Озарение неожиданности сюжета, вот что сразу захватывает читателя. Рассказ начинается от имени ребёнка, и от этого усиливается драматический накал.

«На крыльце дома в ненастную погоду укрывались дети, и им всегда выносили тазик печенья хозяйка дома или её работница».

Так необычно начинает автор свою историю, и читатель сразу проникается этой необычностью.

Первое знакомство с героиней Двосей проникнуто необыкновенной, какой-то щемящей нежностью. Мальчик хочет отблагодарить тётю Двосю за доброту и перед еврейским Новым годом приносит ей в подарок кусок лэкаха. Он узнаёт, что Двося немка, а в знак благодарности за лэках

получает торт. Прекрасное начало рассказа, сразу становится понятно: автор поведёт нас извилистыми тропами, и белый крем на торте – вершина айсберга. Нежность при чтении этих строк захлёстывает, читатель чувствует вкус торта, к которому примешивается запах надвигающейся беды.

Здесь впервые появляется Дом с крыльцом, ему предстоит стать смысловым стержнем повести, воплощением мечты героини. Он будет с нами, читателями, на всём пути, который мы пройдём с автором и героями, становясь участниками трагических событий, растянувшихся на десятилетия.

Всё проживается нами на одном выдохе, и мы уже не замечаем, как меняется пространство и преломляется время. Автор использует своё право отойти в сторону, а читатель начинает трагический диалог с героями повести.

В белорусское местечко Краснополье начали возвращаться солдаты с Первой мировой, и семья местного ребе Аврума-Берла тоже дождалась сына Хaimа. В далёком Нюрнберге он встретил и полюбил молодую немку Дагмар. Так героиня, выросшая в немецком цирке, оказалась в Краснополье.

«...Хaim уверял всех, что она (жена – ред.) еврейка и зовут ее Двося-Берта, и в знак доказательства, что всё у него с Двосей по еврейскому закону, показывал ктубу, брачное обязательство, скреплённое, как всем утверждал Хaim, личной подписью Нюрнбергского раввина.»

Трудно встретили молодых в семье Хaimа. Безоглядная любовь матери к сыну не позволяла ей принять незнакомую невестку. Несмотря ни на что, молодые были абсолютно счастливы, вспоминали свои лучшие дни в Германии, смеялись и читали наизусть «Песнь Песней». Двося мечтала о Доме с крыльцом – таким, которое было в Германии у брата её отца.

Здесь нам открывается ещё один секрет, ещё одна замечательная черта еврейского народа. Хaim хорошо знал обычай, царившие в местечке, и проявил природную смекалку. Он заранее, в Германии, сделал им с Двосей свидетельство о браке. Важнейшая деталь, которая становится вещей. Любовь водила рукой Хaimа, а мудрость любящей женщины ради покоя и счастья мужа превратила жену в Двосю. Её живой образ соткался из двух: немецкой девушки Дагмар и Двоси-Берты, жены Хaimа.

На фоне нежности супругов раскрываются разные стороны жизни внутри штетла. Здесь есть и неприятие родителями Хaimа его жены, ведь в ней подсознательно чувствовали чужачку, и отрицательное отношение к ней всей мишпохи. Читателю демонстрируется анатомически точный срез отношений, царивших в замкнутом мирке.

Смутные времена, наступившие с революционным переустройством мира, всё расставляют на места. Отца и мать героя выселяют, и перед лицом горя Двося, наконец, чувствует себя их дочкой. Взгляды родителей мужа перед разлукой направлены именно в её сторону.

Свёкор Аврум-Берл словно понимал, что эта хрупкая женщина примет на себя всю боль, казалось бы, чужого ей народа. Он прочитал в её глазах, что страшные события двадцатого века оборвут нить радости. Это был его последний взгляд перед вечной разлукой, взгляд человека, познавшего истину, древний взгляд – со времен пророка Авраама.

Глубокая философия и реальный сюжет в рассказе переплетаются с библейским сюжетом, отсылая к далёкому прошлому.

«И сказал господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего в землю, которую я укажу тебе.» (Бытие, глава 12)

Посыл страшный в своей правдивости, и в нём – предвиденье всех бед еврейского народа. Но народ живёт надеждой.

В тот день, когда рождается сын Дмитрий, Хaim пристраивает к дому крыльце – такое, о каком мечтала жена. Крыльце становится символом будущего и общей надежды. Однако наутро, 22 июня, начинается война.

Двося, этническая немка, верила, что немцы её не тронут. Но у евреев было только два пути: гетто и ров за школьным забором.

Почему же эта история стоит особняком? Здесь чётко прослеживается главный критерий выбора всех героев: ребёнок прежде всего. Ради сына Хaim достаёт старый паспорт жены и ценой собственной жизни заставляет её объявить себя немкой.

До конца дней она будет помнить слова свёкра, которые Хaim повторил слово в слово: «Ты должна жить».

«Меня уже нет. Ты пойми! Меня нет! Ты осталась одна с нашим сыном. И ты должна его спасти. Ты не Двося, ты – Дагмар.»

Выбор – всегда в пользу ребёнка. Ей удалось спасти сына в страшное время оккупации, но переломная эпоха не пощадила её, впереди был ГУЛАГ. А после она много лет ждала на крыльце своего мальчика,

держась лишь мыслью о том, что он жив. И когда бы ни приходили на крыльцо соседские дети, там всегда стоял тазик с печеньем.

Автор предлагает вспомнить тёмные и светлые пятна истории нашей страны. В душе читателя волной поднимается боль, ему трудно сдержать слёзы.

Уместно ли здесь обратиться к живописи? Думается, что да. Яркая образность прозы не даёт пройти мимо главного художника, воспевающего жизнь и страдания еврейского народа, Марка Шагала.

«Париж – ты мой Витебск», – говорил художник.

Почему при чтении историй Баскина в памяти всплывают картины Шагала? Неужели для меня, как для читателя, важно, что знаменитый художник жил в Витебске, совсем рядом с Краснопольем и его героями? В этом ли главная причина такого сопричастия?

Большому художнику удаётся запечатлеть моменты, взгляды, которые никогда не повторятся. Он берёт краску, подходит к холсту. Пишет. Остановится – и снова, штрих за штрихом. В глубоких рассказах Марата Баскина есть этот взгляд, этот миг, ради которого пишется картина. Читатель чувствует затруднённое дыхание, как перед полотнами Шагала, когда невозможно перейти через слово и нужно остановиться, чтобы выдохнуть.

Такое чувство возникает, когда ты, глядя на картину Шагала «Скрипач», слышишь мелодию скрипки. И в этой музыке – печальная еврейская серьезность, и радость, и страдание целого народа.

Как появляются эти ассоциации, и почему картина Шагала «Над городом» – это те самые домики, лестницы и заборы, о которых мы читаем в рассказах Баскина? Может быть, там есть и «Дом с крыльцом»? А странник на картине «Над Витебском» – не ребе ли Аврум-Берл из нашего рассказа? Вероятно, в этих интуитивных аллюзиях – попытка найти ответ, почему образы Шагала и литературных героев сливаются воедино.

* * * *

«Картины Шагала, как водная поверхность,
в которой всплывают островки памяти.»

Михаил Шемякин

Такие островки заставляют читателя склонить голову и перед героями рассказа «Дом с крыльцом», и перед героями всех историй, что нашли своё место в скорбной книге памяти. Вспомним и «Белое распятие», одну из мощнейших работ Марка Шагала, отражающую трагедию Холокоста. Это память о миллионах убитых, среди которых и герои рассказов Баскина – погибшие во рву за школой, расстрелянные на Кричевской дороге. Их многочисленные имена становятся зарубками на душе.

Эпическое полотно передаёт боль с чудовищной силой, в его сюжетности смешано всё: и отнятые жизни, и поджоги, и уничтожение святынь, и еврейский народ в центре – в виде распятого Христа, висящего над миром, который открыл объятия злу и насилию.

И всё-таки в картине Шагала есть 189адежда, извечная 189адежда многострадального народа на счастье. Она видится нам и в переполненной лодке, и в человеке, спасающем священные книги. Даже в самых страшных рассказах Марата Баскина о несчастьях, об убитых в Краснополье тоже есть 189адежда, что дети и внуки погибших, успевшие спастись, оказались в той самой лодке с одной из самых известных в мире картин.

По сути, ответ на вопрос, почему картины Шагала так связаны с историей Краснополья, даёт читателю сам автор:

«Моё Краснополье такое же реальное, как нынешний Витебск и Витебск на полотнах Шагала. Это было, но как говорил мой папа, “немножко не так”».

Рассказ «Немка» продолжает историю трагической судьбы Двоси-Дагмар, потерявшей в страшных лабиринтах судьбы мужа и сына.

* * * *

*Как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.*

Иосиф Бродский

После лагеря Двося приезжает в Дом с крыльцом с надеждой дождаться сына. Никто и не думал, что она сумеет вернуться. Сопровождает её Дуся, о которой Двося заботилась в лагере как о дочери. Двося не смогла оторвать себя от Дома с крыльцом, от того места, где она была счастлива и несчастлива одновременно.

Долгие годы, как заклинание, звучали внутри героини слова мужа: «Ты должна жить». У неё забрали всё, кроме этого дома и надежды на возвращение Дмитрия. В каждом ребёнке на крыльце она видела своего сына.

Мы помним, что рассказ «Дом с крыльцом» автор начинает от лица мальчика, словно ещё раз подчеркивая главную заповедь народа: ребёнок – центр мироздания.

Двося не любила вспоминать пытки в кабинете следователя, это откровение, полностью лишенное иллюзий, нечасто услышишь в прозе Баскина. Вот только искалеченные пальцы не давали ей забыть прошлое. Надо ли искать смыслы в этих коротких воспоминаниях героини? Ведь переломанные пальцы и есть смысл, осязаемое, реальное зло. Он часто ей снился, могилёвский следователь, воспоминание со дна колодца, в котором Двосе пришлось побывать. Автор не рассказывает о следователе подробно, но вплетает его страшный образ в жизнь героини дважды.

Баскин мастерски выписывает персонажей, через детали погружая читателя в осязаемую действительность. События связываются воедино и, наславаясь одно на другое, усиливаются спонтанностью восприятия. И уже нам, читателям, приходится додумывать, как может сложиться эта история далее.

Сделаем паузу и вернёмся к тем временам относительной свободы, когда реабилитированные получили возможность узнать что-то о судьбе близких. Все эти годы Двося жила надеждой найти своего сына и, наконец, получила письмо с известием: Дмитрий находится в приёмной семье. Она не знала, что ждёт впереди, и молилась за людей, приютивших её сына.

«На удивление Дуси, молилась она по-еврейски, как научил ее Хаим и свекор.»

В этой молитве была вся скорбь её народа, её еврейского народа.

Быстро менялись времена, и немцам разрешили вернуться на родину. Повороты судьбы привели Двосю на приём в Немецкое

посольство. Она рассказала работнику посольства историю своей жизни – так, как рассказывала её следователю в Могилеве.

«И о Нюрнберге, где родилась, и об отце, и о дяде Отто, и даже о маме, которую потеряла в три года. И о том, как познакомилась с Хаимом, русским пленным. И как добиралась с ним из Германии в неизвестное ей маленькое местечко, которое стало ей родным домом. И как в местечке она стала еврейкой. И как долго они с Хаимом ждали ребёнка. И о том, что ради ребёнка она ушла из гетто.»

Лицо работника посольства менялось, он уже слышал эту историю, слово в слово, год назад, когда готовил документы на отъезд некоей семьи. На одной из фотографий уехавшей семьи были сын Двоси с женой и дочкой, а на другой – его приёмный отец.

Так замыкается круг.

Исчадие ада, человек, сломавший её судьбу, следователь-палач и приёмный отец её сына.

Нет ответа на вопрос, что заставило зверя в облике человека взять именно этого мальчика на воспитание и вырастить его достойным человеком. Ведь он, служивший в органах, сильно таким образом рисковал.

Не даёт нам автор никаких указаний и на то, что у следователя заворочалась совесть. Откуда ей взяться, если руки по локоть в крови. Может быть, сыграл свою роль феномен безграничной веры: он творил не зло, а справедливость? И результатом этой фанатичной, безграничной веры стал маленький росток добра? Здесь читатель становится и свидетелем, и судьёй человека, олицетворяющего Зло и Добро одновременно.

Автор не даёт расшифровку кода судьбы героев. Похоже, и у него самого нет такого ключа. А есть ли он вообще, ключ? Этот полный драматизма вопрос – важнейший для рассказов Баскина.

Стоит подумать ещё над одним моментом: сравнение прозы автора с притчами. Во всех историях прослеживается нечто общее, в частности, темы детства и непростого выбора в пользу человечности и добра. И вот здесь можно выявить определенную закономерность. Последняя фраза в рассказах, где фигурируют дети, является смысловым завершением, и, как в притче, высоко поднимает финал истории.

Можно ли при близком рассмотрении считать эти две сильнейшие вещи иллюстрацией авторского метода, или образ приёмного отца не

позволяет сделать такой вывод? Ради спасения жизни мальчика и его будущего было сделано всё – вот одна сторона, но зримая сцена сломанных пальцев матери – другая. В этой неоднозначности проблемы выбора и зашифрован вопрос: что есть мера искупления зла. Такие сложные вопросы на глубинном уровне ставит автор, и найти разгадку этой головоломки предстоит каждому из нас.

Тема милосердия и прощения звучит в рассказах, но автор не даёт ответа, возможны ли они. Читатель будет искать свой собственный ответ и помнить о том, что справедливость – редчайшая вещь в мире.

Автор выбрал свой путь: донести до нас через правду и чудовищную реальность прошедшего времени мир иной правды, где Зло и Добро идут рядом. Читатель переполнен ужасом от событий, происходящих в рассказе, но к такому итогу он не готов.

Перед финальной точкой Марат Баскин прибегает к собственному авторскому приёму. Он сдвигает фабулу восприятия в сторону важнейшей нравственной проблемы: возможности раздвоения человеческой личности.

Чётко выверенная композиция рассказов находится в постоянном сплетении тем – то возникающих, то исчезающих. Умелой рукой автор дописывает историю несчастья и счастья одной семьи, где на фотографии сошлись в своём метафорическом единстве два человека. Палач-следователь из далёкого прошлого, навсегда впечатанного в память, и почтенный старик, приёмный отец Двосиного сына. Метафора переёрнутого мира, где понятия Зло – Добро поменялись местами. Автор открывает дверь в мир иной правды.

Пропасть между добром и злом исчезает, они нерасторжимы в одном человеке. И это делает талант писателя.

Сложная многоплановая композиция замыкается одной героиней. В финальной сцене накал эмоций так силён, что ты, читатель, видишь эту сцену словно вживую. Строгая геометрия пространства. На переднем плане – главная героиня и две другие фигуры: работник посольства и Дуся. Все контуры чёткие, никакой размытости красок. Создаётся мистическое ощущение, будто осколки прожитой жизни собрались в одной точке – в фотографии на столе.

В этой точке сошлось всё, не хватает только зеркала, в котором Двося, как в зазеркалье, увидит всю свою прошлую жизнь: убитого мужа, отнятого сына, переломанные под пытками пальцы и благообразного почтенного старика-палача. Почётного жителя города Нюрнберга,

получившего звание за спасение ребёнка во время войны и вырастившего его успешным человеком. Эта точная геометрия картины похожа на клетку, из которой не выбраться. Не выбраться читателю – ему не оторваться от этой сцены, а главное, не выбраться Двосе. Нет ничего, что указывало бы ей на свет.

Фотография становится финальной точкой истории и страшной правдой для героини. Безвыходность звучит в её ответе на вопрос к себе самой: «*Я не знаю, что сказать*».

«Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его. (Послание к Римлянам, 2:5-6)

Блестящий финал, в нём – смысл всего текста. Двося молилась словами своего свёкра, услышанными первый раз в день, когда она переступила порог его дома, молилась по-еврейски: «*Что я должна сказать, сынок?*».

ОДЕССКАЯ СТРАНИЦА

Одесса: история и люди

Владислав КИТИК. К себе прислушаюсь: жива. Жизнь и творчество Ирины Василенко (23 декабря 1957г. – 6 янв 2021г.)

В судьбах многих поэтов есть одна общая биографическая особенность: их начинают ценить, а то и вообще узнают о них после того, когда они покидают земное пристанище. Они уходят, не всегда успев попрощаться, не сумев стереть слезу с лица друга. Уходят, кто – в одиночество чужого края, кто замирает на больничной койке. Уходят в молчаливой безвестности, не став за жизнь крупными землевладельцами, головоломными изобретателями, законодателями мод и уж тем более народными трибуналами.

Что, казалось бы, дальше: холод? Пустота? Нет! Вспоминать о них, а потом – и помнить побуждает их завещание миру – стихи. Например... «О неведомой птице», которые оставила нам Ирина Василенко.

... Она уходила, она улетала.

По краешку ночи, по острому срезу.

То душу, то время, смеясь, убивала.

Забыта навеки. Нужна до зарезу.

Словно во искупление своей забывчивости, аналитики начинают делить стихи на актуальные и неозвучные времена, на доступные и сложные. Но у них свой ритм и алгоритм, своя ментальность. И – никакой нужды в отведении места на классификационной полке. Их нужно принимать или... Лучше просто вслушаться в слова Ирины:

Дал вот Всеышний душу (не дал – ума).

Будьте чуть милосерднее... я заплачу –

Звонкой монетой из горьких (ненужных) слов,

Смехом, что так рифмуется с горстью слёз,

Зёрнами кофе, улыбкой, венцом шутов,

И королевской прихотью – жить без грёз... –

С поэтами такое случается редко, но Ирину Василенко все любили. И даже оспаривали право на большее приязненное внимание к ней. Я в этом

ряду оказался последним. Мы были отдалённо знакомы, часто встречались возле редакции в Ильичёвске во дворе её дома. Но она проходила мимо, почти задевая меня рукавом и при этом не замечая. Смотрела куда-то в даль небесную сквозь толстые линзы очков. Потом выяснилось, что никакая она не воображала, у неё просто было плохое зрение. Физическое зрение. А её поэтическое видение сформировалось давным-давно.

Я и не подозревал, что Ирина автор сборников стихов «Кофейные зёрна» (2008), «Ты прикидывалась птицей Матерлинка» (2016). Её хорошо знали по публикациям в коллективных сборниках и альманахах. В 2009 году она стала обладателем специального диплома международной литературной премии «Золотое перо Руси», была победителем международного фестиваля «Славянские традиции» в номинации «Стихи о любви» (Крым, 2011). Была финалистом конкурса одного стихотворения им. Риммы Казаковой (2011, Одесса). Много сделала как инициатор и создатель арт-фестиваля «Провинция у моря».

Но в небольшом городке под Одессой, куда она переехала ещё в школьные годы, этот секрет был недолгим.

Мне нравилось её обаяние, подчёркнутое природной скромностью и непринуждённой вежливостью. И то, что всё в ней выдавало не столько уроженку Ленинграда, сколько петербурженку, впитавшую культуру северной столицы. Ирина привезла в Одессу, кроме небольшого жизненного скарба, изысканность манер, которая перешла к ней от бабушки, бывшей воспитанницы Института благородных девиц. Умение быть проникновенно внимательной к людям, унаследованное от отца, служившего дипломатом.

Здесь и соединились в ней характеры Пальмиры Северной и Южной. Но с её поэтическим видением Одесса открылась для неё не только уголком, где умеют шутить и пропускать неудачи, как морской песок, между пальцев, но и – городом лирическим, чутким к слову, городом, где умеют любить. Этим Василенко и заявила о себе:

вяжи, вяжи из нежности узлы.
нанизывай, как бисер, чьё-то слово
и амадей откликнется смычково:
здесь невозможно выжить без любви...

Судя по стихам, Ирина и в жизни избежала двойственности, тем более раздвоения и противоречий. Её мировосприятие отличает цельность, ёмко вмещавшую и динамику бытия, и приверженность к величавой обстоятельности классики во всех её аспектах.

– Я не знаю, как словами передать магию этого места. Стая лодка. Рыбацкие снасти. Галька под ногами. Наверно, секрет в том, что здесь есть он – Сальвадор. Мечтатель, выдумщик, капризный ребёнок, надменный сноб, – писала Ирина о великом художнике.

Или о замечательном дирижёре:

– Ах! Люблю невероятно! Ближе к финалу – вообще восторг. Спиваков – тот музыкант, благодаря которому можно на всю жизнь полюбить классику.

Конечно, это органично сочеталось с её тяготением к основополагающим канонам русского стиха с глубиной его искренности, доверительностью и почитанием лучших его представителей:

Мечтать о чём-то полусонно,
Шептать нелепые слова,
И верить сердцу, внесезонно
Поверив в близость волшебства.
И пусть шлагбаумы чернеют –
Не гаснет свет... свеча горит.
«И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд...»

Её цельность основана на одновременном переживании очевидности и того, что проступает между строк. Отсюда близость её лирического двойника к оригиналу. Поэтому Ирина Васilenko обходилась в творчестве без мозгового штурма и форсажа воображения. В её стихах бьётся пульс человека, находящегося в необъятной сложно-трагической и противоречивой жизни. И – находящего себя в осознании поэтической реальности, именуемой собственный голос:

матрица серых дней больше не будет лета
счастье такой пустяк но затерялось где-то
вечер достал дождём только не надо плакать
пей с бергамотом чай в рифмы упрятав слякоть

этот минор и сплин просто прогноз погоды
слышишь дыши дыши ты из другой породы
где-то внутри тебя тихо играет флейта
...дворник смешной чудак пьёт и читает Фрейда

Она ушла из жизни 6 января, в православный Сочельник. Её восприятие жизни было обострено болями от онко. Обострено, но не угнетено. Когда казалось, что мучение никогда не кончится, она отказывалась обременять стихотворное слово своей роковой бедой. Только иногда проскальзывают лёгкие штрихи неизбежности:

.....
а у тебя цветёт жасмин,
и в голове гуляет ветер,
и рыжесть – лучший витамин,
когда вокруг всё в чёрном цвете.

К себе прислушайся: жива?
Пусть всё вокруг летит, искрится!
...Под каблучком хрустят слова,
и лето в дверь уже стучится...

Будучи признанной, Ирина аттестовала себя как самоедку, которая «редко бывает довольна собой». Но ей не присущи резкие высказывания. Как лирик Ирина избегала императивов. Если у нее и появляется повелительное наклонение, оно выглядит в качестве собирательного обращения, как к своим единомышленникам, так и к себе, стремящейся к совершенству. Словно она ставит себе уровень, к которому должна подтянуться. И каждый раз – более высокий, более тонкий, потому что границы верхнего предела нет.

Это проявляется у Василенко в сомнениях внутреннего диалога: «Вдох не в такт? жизнь не в слог?» И она отвечает себе:

<...> Не беда,
не хандри. Перемелется всё, потеплеет когда-то...
Утечёт как песок, как сквозь пальцы вода
Эта скверная боль, что в ладони зажата.

Попытайся хранить, и беречь, и любить,

И стирая прошедшего швы и помарки,
Научиться попробуй читать и ценить
Между сказанных слов – золотые ремарки...

Последние моменты общения с ней были трогательны, печальны и неожиданы: она перед операцией попросила мой сборник стихов. Говорят, читала их в больнице. Больше с ней увидеться не пришлось. Осталось только тепло, которое она излучала.

СТИХИ ИРИНЫ ВАСИЛЕНКО

* * *

это воздуха нет и закончились рваные дни
заупрямилось время и стрелки стоят на зеро
уходя промолчи никого ни за что не вини
собирай тишину и слова превращай в серебро
видно эту печаль не укрыть от назойливых глаз
будто рвётся наружу расходится тоненький шов
и летят в пустоту под усталый обветренный джаз
уносимые ветром страницы никчёмных стихов
глухоту недосказанных фраз и оборванных слов
отпускаешь с ладони как бабочку в сонный полёт
развеивается плащ прокуратора вечер багров
ты сидишь у окна мимо время неслышно течёт

СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА (реквием по надежде)

Осенние листья летят вместо писем в Макондо.
Столько лет одиночества. В двери лишь ветер стучится.
Наивная память о прошлом твердит сумасбродно,
Но ты понимаешь: уже ничего не случится.

Уже ничего, ничего, ничего не поможет:
Ни в книге закладка на самой любимой странице,
Ни капли дождя, что ознобом ударят по коже,
Ни чьи-то шаги по скрипящей от мук половице.

И будет свеча дожигать в одиночестве тусклом,
Ты в зеркало бросишь усталое тихое «prosit!»,
Свернётся калачиком, выгорит прошлое углем,
А та, что любила, стихи свои (в небо) забросит.

НЕ СКАЗКИ

Верить – это просто и легко.
(стёклышки иллюзий разбросаешь)
Строчки попадают в «молоко»,
Даже если в небо отпускаешь.
Герда, Беатриче, Ла, Марго –
Город твой навечно замурован.
Пусто там, где пунктик «итого»,
Холод со строкою зарифмован.
Призрачны мечты и миражи.
Сказки с хеппи эндом – на бумаге.
Ты – птенец над пропастью во ржи,
Вечность тихо плачет в полушиаге.

ОНА ПРИТВОРЯЛАСЬ НЕВЕДОМОЙ ПТИЦЕЙ...

«Ты прикидывалась птицей Метерлинка...»
(черновики)

Она притворялась неведомой птицей,
Лгала, что по встречной летит до упора,
Слыла королевой, была баловницей,
Несла свою ношу и множество вздора.

Сжигала себя и чужие страницы,
Ловила секунды и брошенный камень.
Ей кто-то упорно твердил про границы,
Навязывал догмы и затхлый регламент.

Она собирала осколки и рифмы,
Хранила себя и сожжённую память.

Меняла е-мейлы, иконы и ники,
Мечтала от счастья внезапно растаять.

... Она уходила, она улетала.
По краешку ночи, по острому срезу.
То душу, то время, смеясь, убивала.
Забыта навеки. Нужна до зарезу.

AMADEUS, etc

... не плачь, не плачь... слова взрывают день,
как вспоротая вена, ранит слово.
ты улыбнёшься (мудро... бестолково...),
легко шагнёшь на новую ступень.

лети, лети – летально крылья жечь.
пока часы двенадцать не пробили,
такая жесть! – забыть глухие штили,
такое счастье! – слышать чью-то речь.

тебе приснится кроличья нора,
песчаные карьеры генералов,
и msk в сумятице вокзалов,
и хмурый Питер пулей у виска.

вяжи, вяжи из нежности узлы.
нанизывай, как бисер, чьё-то слово.
и амадей откликнется смычково:
здесь невозможно выжить без любви...

ПРЕДЧУВСТИЕ ЛЕТА

Всё не ложатся строки в такт,
всё не кончается суббота,
сама с собой заключишь пакт
о том, что твой конёк – свобода,
и будет горе – не беда,
(а только горькое лекарство),

всё трын-трава, белиберда,
а у тебя – сирени царство,
а у тебя цветёт жасмин,
и в голове гуляет ветер,
и рыжесть – лучший витамин,
когда вокруг всё в чёрном цвете.

К себе прислушайся: жива?
Пусть всё вокруг летит, искрится!
...Под каблучком хрустят слова,
и лето в дверь уже стучится...

ДОЖДЬ КАК ПОВОД

люблю, чтобы тяжёлые капли бились в оконную раму,
и из этого биения вырастала музыка.
она всегда чуть грустная и тревожная,
как мои мысли,
застрявшие в прошлом,
как мои воспоминания,
упорно прорывающиеся в настоящее.
когда идёт дождь –
я становлюсь пугающе беззащитной и уязвимой.

ты, наверно, чувствуешь это,
отключаешь тормоза –
и переворачиваешь мой тихий мир.

Боже, сделай так, чтобы этот дождь прекратился,
разве ты не видишь, что перемешались капли и слёзы,
мартини и лёд, слова и мысли,
и я до хруста сжимаю пальцы,
чтобы не выронить нежность,
прикрывая улыбающимся смайликом
что-то невыносимо режущее.

НАУЧИТЬСЯ БЫ ЖИТЬ

«Живи мгновением, ибо это и есть жизнь»

C.

Научиться бы жить лишь сегодняшним днём,
Без вчерашних обид и заученных истин.
Вышивая мгновенья золочёным шитьём,
Заполнять свои дни только светом лучистым.

Научиться бы не замечать подлецов,
Верить в то, что согрет этот мир состраданьем.
Говорить на излюбленном из языков –
Том, в котором рифмуется всё с пониманьем.

Научиться молчать о любви и тоске,
Позабыть про нелепость разлук, расставаний...
Научиться собой быть и в каждом штрихе
Принимать всё, как есть – без потерь и роптаний.

Обучи нас, Всевышний, науке наук –
Не валяться в грязи, не кичиться, что чистый...
Подари нам тепло чьих-то преданных рук...
Разреши просто Быть – без наград и амнистий.

ОСЕННЕЕ

Ты так любила осенний сумрак,
ковёр из листьев и тёплый плед.
Но эта осень скрупа на счастье,
и щедро дарит лишь список бед.
Рефреном тусклым звенит: «теряю» –
ключи от дома, друзей и сон.
Здесь всё так хрупко, и так привычно
у драмы этой бесслёзен фон.

Закрыты двери – не достучаться,

засов невидим, и стражи нет.
Не верь, не бойся, не жди ответа –
держи осанку, храни свой свет.

Волшебных красок ещё в запасе
немало скрыто меж будней дней.
За новой дверью живёт удача,
и каждый шаг – как дорога к ней.
Пусть в прошлом тает всё то, что болью,
тоской сжимало, мешало жить...

Есть тихий город. Стихи и книги.
Всё то, чего нас нельзя лишить.

НЕ ВЫПИТАЯ ЧАШКА ЧАЯ

Памяти Галины Маркеловой (18 февр. 1943 – 23 нояб. 2025 г.)

Опять Одесса переживает скорбные дни, когда уходят из жизни люди известные, любимые, питавшие творчеством культурный потенциал города.

Опять взволнованные сообщения, соболезнования, слова, сочащиеся сквозь грусть и память. 23 ноября 2025 года не стало Галины Маркеловой. В православии крещенной Анной.

Поэт! Прежде всего – она поэт... Автор шести сборников стихотворений, один из которых, «Приглашение к Танцу» (2003) издан в Москве. Печаталась в Одесской антологии поэзии «Кайнозойские Сумерки» (2008), журнале «Октябрь», альманахах «Меценат и Мир. Одесские страницы» (Москва), «Дерибасовская – Ришельевская» и др. Дипломант Муниципальной литературной премии им. К. Паустовского (2006). С детских лет – в Одессе, сроднилась с нею душой, сплелась корнями сердечности.

Тире, образовавшееся между двумя датами, – не прочерк. Это свидетельство непростой жизни, трудной и разнообразной, не слишком яркой внешне, но – не напрасной. Гале писалось сложно, удавалось напечатать стихи не так часто, как хотелось. Последние публикации Галины Маркеловой состоялись в журнале «Гостиная», поданные как цикл с общим названием «Кадиши»:

Пусть говорят, что время умирать –
я бормочу своё: «Давай допьём коньяк,
чтоб отвязаться напрочь,
расслабленной рукою выводя:
«тысячелетье третье, помяни меня,
хмельную, предыдущими двумя...»

Она была старше многих из нас, студийцев литобъединения «Зелёная лампа» при Всемирном клубе одесситов. Но и мудрее многих благодаря своей доброжелательности. Не помню, чтобы она кому-то завидовала. злословила о ком-то. Ироничное отношение к ближнему ей было совсем не присуще.

Встречи с нею становились все реже. Гале было трудно ходить, она медленно спускалась по ступеням, держась за перила.

Она обычно садилась в стороне и внимательно слушала выступающих, оценивая их рвение, смущённость или нарочитость долгим понимающим взглядом, как смотрела на кукольные треволнения черепаха Тортилла. Сама выступала редко и комментировала только те стихи, чье содержание ей импонировало. В этом проявлялся ее вкус, избирательность взгляда и мнения.

Критиковать кого-то было не в ее правилах. Точно так же она никогда не жаловалась на болезни, на сложное психологическое состояние. При этом в ней чувствовалась скрываемая ранимость, неизменно проступающая сквозь слова в стихах. Конечно, все происходящее затрудняло ее возможности иметь широкий круг общения. Было ли Галине в жизни одиноко? Наверное. Но она твёрдо и последовательно свое одиночество преобразовывала в творчество.

Возможно, теперь она встретится с друзьями молодости, ценившими ее. С Евгением Михайловичем Голубовским, Ильей Рейдерманом, Фимой Ярошевским, вдоволь наговорится об абстрактной живописи с художником Олегом Соколовым, признанным после своего ухода. Еще раз улыбнется стихам Игоря Павлова, посвященным ей:

Слушай, Галя, жизнь – плохая.
Приходи на чашку чая.
Хоть в халате, в бигуди -
Приходи!

Утром снова – рыжий финик,
Староконный бледный рынок.
Смотрит сверху, сер и сед,
Снисходительный рассвет.

Днем – туманно. Если кратко:
Бред. Смятенье. Лихорадка.
Слушай Галя: жизнь плохая!
Приходи на чашку чая!

Приходи сидеть, скучать,
Жесткий бублик в чай макать...

Пусть им там будет светло и спокойно, тепло и радостно

ПУБЛИКАЦИИ ГАЛИНЫ МАРКЕЛОВОЙ В ГОСТИНОЙ:

https://gostinaya.net/?author=57&fbclid=IwY2xjawORaghleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF4WnJnMVZZdW53MmlYd2RXc3J0YwZhchBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHm0vjc1fJL1xVxA5z2NnhzKpZsA9hMbB2PCXtelIfTZc5GoG3bpqHn7YRkJp_aem_GMh6b1kp1eDsW0v3pLkmYw&brid=BLBM9Jc8EVmmqE-fc7u1oA

Гости ОС

Рада ПОЛИЩУК. Давид-псалмопевец, бывший стиляга

Додик Мутерперель, в молодости стиляга, первый модник своего двора, улицы и даже города, пижон и кутила, единственный сын строгой, скупой на нежности Хаси, племянницы Фишеля Трахмана, до войны известного в городе зубного техника. Не родной племянницей была ему Хася, а по мужской еврейской линии его армянской жены Наны, души не чаявшей в Додике, сильнее, чем мать родная, целовала его, тискала, нянчила, отчего, наверное, его и дразнили в детстве обидным прозвищем «смесь армяшки с гуталином». Додик чуть не плакал от обиды: ну почему – «армяшки»? почему – с «гуталином»? почему не как есть на самом деле – просто жидом? Позже стали обзывать «гибрид», «гибра», потом сокращенно «рид», что походило на нормальное американское имя, а он уже к тому времени безудержно и безоглядно тяготел ко всему иностранному, заморскому, недостижимому...

Тогда казалось – недостижимому.

Это сейчас он живет в Бруклине, старый еврей с седой вздыбленной копной волос, из которых даже лучший в мире парикмахер не сумел бы создать нечто благопристойное, потому что волосы, пережившие вместе с ним глубочайший стресс от перемены места жительства, так и не оправились – встали дыбом и торчат во все стороны, как у безумного короля Лира из трагической пьесы Шекспира.

Когда-то давным-давно он водил жену свою Любанию, тогда еще невесту, в Одесский русский драмтеатр, она вышла после спектакля зареванная, икающая, с опухшим лицом и заплывшими глазами. Он бережно вел ее за руку, как незрячую, и впервые ему захотелось избавиться от роскошного набриолиненного кока, который носил с гордостью и королевским достоинством. Вместе с коком рост его составлял один метр девяносто один сантиметр, и когда он появлялся на Приморском бульваре, с противоположного конца доносилось приветственное: хеллоу, Рид! Тогда он был заметной фигурой не только в смысле роста и атлетической стати, он был стилягой номер один в славном городе Одесса. Его знали все.

Сейчас он один из многих, кто, едва передвигаясь на своих

двоих или с палками и костылями, а то и в уличных креслах-каталках, снуёт бесцельно изо дня в день по Брайтон-Бич взад-вперед, и из последних сил делают вид, что это и есть настоящеевреинское счастье – мазаль или нахес. Выбирай, что больше нравится. В свободной стране – у каждого полная свобода выбора. Вот они и выбрали – еврейское счастье. Хоть на иврите, хоть на идише – все едино, никакой разницы.

Чтоб он так жил. Чтобы вы все так жили.

Господи, Боже ж мой! Можно подумать, что в Одессе нет бича, побережья то есть на нашем родном русском языке – да в миллион раз лучше! Хоть Аркадия, хоть Лузановка, хоть Ланжерон. А шестнадцатая станция Большого фонтана – ой, мама дорогая, это же лучшее место в мире: какой песок, какая волна, а горизонт! Где вы еще видели такую линию горизонта, где, я вас спрашиваю?

Небо и море незаметно сливаются и не понять – или это верх, или низ, плывешь ты, а может, паришь внутри шара, наполненного то ли водой, то ли воздухом.

Додик помнит, как впервые пережил ни с чем несравнимый восторг ужаса – он тонул в море, наглотался соленой воды, и волна несла его неудержимо – подкинула в небо, а оттуда низвергла в темные глубины, в толщу пучины морской. Ему было девять лет, он не умел плавать, но смело прыгал в высокую, накатывающую на берег волну, как все. Страшно, едва выбрался, весь посинел и дрожал от макушки до пяток, но снова ждал – вот-вот сейчас накатит, обнимет его и унесет. Ожидание граничило с экстазом, ничего не осознавая, он рвался *туда*, не знает *куда*, как в сказке...

И вот дорвался.

Волна забросила его в Америку, на побережье Атлантического океана, на Брайтон-Бич. Не морская волна, другая.

Сам не знает, как оказался в этом живом водовороте, его несло и несло – ни остановиться, ни оглянуться, ни одуматься, словно дурное зелье какое-то выпил, и ум на время помрачился.

И Любания, жена горячо любимая, верная, рассудительная и осмотрительная, не в пример ему, легковесному пижону и заядлому гуляке, все годы их безмятежного супружества мягко окорачивающая его мятежную душу, его бунтарство и непокорность, твердила как заклинание: «надо ехать, ехать надо». Будто кто заговорил ее, гойку, в

церкви крещенную в малолетстве.

«Надо ехать!» – за него решила Любания этот мучительный вопрос извечных скитальцев-евреев. Испокон веков – мучительный.

Ехали родственники, дальние, ближние, ехали соседи, знакомцы ранних детских лет, с кем бок о бок пережил все лихолетья, все беды уходящего двадцатого века, и те, с кем свела жизнь в старости. Ехали кто от нищеты и неустроенности, кто за длинным рублем, кто вслед за детьми и внуками, не в силах расстаться, не зная, что ждет впереди. Прощаясь, многие отводили глаза, желая скрыть слезы и затаенный страх перед неведомым, бормотали второпях «на будущий – в Ерушалаиме», даже если ехали в Америку, а не на Святую, Господом обетованную землю Израиля.

Почему не туда – отдельный вопрос, так и оставшийся без ответа.

Жили они с Любанией, как большинство одесситов, в нью-йоркском Бруклине, на Оушн авеню угол Кей авеню в шестиэтажном красном кирпичном доме в хорошей, даже прекрасной двухкомнатной квартире со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, вплоть до стиральной машины, СВЧ-печки и электродуховки, совмещенной с грилем.

Даже во сне не могло такое привидеться Додику в прежней жизни, где вонючий коммунальный дворовый туалет на два «посадочных места» стыдливо прятался за сараем с метлами, ведрами, граблями и всякой всячиной для уборки общественной территории. Конечно, они, как все, выгородили в кухне чуланчик для унитаза, но водопровод и канализация работали плохо, от бесконечных засоров в кухне витал неистребимый приторный запашок, ставший неотъемлемой частью головокружительных ароматов Любаниной стряпни, отчего она не в шутку страдала. А он ничем не мог помочь ей, хоть простищал унитаз и раковину ежедневно, иногда по два-три раза в день.

Было это в Одессе, на Успенской угол Канатной, во дворе, где он родился и прожил всю жизнь до отъезда минус четыре года, проведенные в Казахстане, на станции Джусалы, куда занесло их во время войны – бабку Мару, тетку Изу и ее двух дочек, Ривушку и Басёну, в которых он был горячо влюблен, в обеих сразу.

Нынешний адрес чем-то схож с прежним, дом тоже стоит на пересечении двух улиц – Оушн и Кей. Схож да негож.

И сны он видел здесь совсем другие, и редко-редко, почти

никогда.

Ночами Додик не спал. Все думал, думал, ворошил в памяти жизнь свою, искал в ней смысл, простой и понятный. Для чего, хотел он уяснить для себя самого, стоя уже почти на краю, для чего явился в этот мир, именно он, Давид Шмулиевич Мутерперель, переименовавший себя когда-то в Дода Самуиловича Перля, что, в общем, оказалось не слаще редьки в свете всегда остро стоявшего в СССР национального вопроса, а попросту говоря – неистребимого, повсеместного антисемитизма, сверху донизу.

Впрочем, он сам тогда был скорее *здесь*, чем *там*. То есть не за забором, где все евреи, не в гетто, пусть и условном, где у всех одна судьба, а возле забора, с другой стороны, откуда через широкую щель можно было отслеживать все происходящее, быть в курсе всех подробностей *их* жизни, чтобы не пропустить момент, когда еще можно будет протиснуться туда, где сбившись в кучку, спина к спине они, гордо воздев головы к небесам, будут петь свои молитвы, пятаясь все ближе и ближе к краю обрыва. Тогда он встанет рядом, иного пути нет.

Но он отчаянно не хотел этого.

Он не любил евреев, как ни чудовищно это звучит. Евреев вообще, хоть ничего плохого они ему не сделали, правда, и хорошего тоже ничего, не каждый в отдельности, а все вместе. Но он не считался с ними, он просто их не любил.

К своим, конечно, это не имело отношения. Свои, родные, если и не были очень близки ему, то, во всяком случае, понятны, со всеми их пороками, причудами и завихрениями. Он слышал плохим родственником, его все осуждали всегда и за все, что бы он ни делал. Особо не распространялись по его поводу, отделяясь одной на все случаи фразой, не пропитанной никаким чувством и не имеющей никакого конкретного содержания: «Ой, что говорить за Дода, за него ничего не скажешь, чтоб он был здоров». И при этом все кивали головами, кто сверху вниз, как бы подтверждая сказанное, кто из стороны в сторону – не отрицая, а скорей выражая свое привычное уже осуждение в его адрес, кто с неким недоумением пожимал плечами – ну куда, мол, тут денешься, что есть, то есть.

Но все же – «чтоб был здоров», потому что не чужой – свой.

Вот и он к своим относился по-свойски: кого терпеть не мог,

кого жалел, кого в упор не видел, не узнавал при встрече, не делал вид, что не узнает, а истинно не узнавал. А кое-кого любил и даже обожал. Их было немного – бабка Мара (Бамара), тетка Изя и ее две дочки, Ривушка и Басёна.

Бамару, мать его матери Хаси, маленькую старуху, морщинистую, всю скучоженную, перекошенную на правый бок, как кривой сучок высохшего дерева, никто не любил. Больше того – избегали общения с ней, побаивались. Предпочитали держаться подальше. Хотя Додик не помнит, чтобы она чинила какие-то пакости, строила козни или просто ругала кого-то. Она больше молчала – и накрывая скатертью стол к субботней трапезе, и зажигая свечи, наводя порядок в своем убогом жилище, сверкающем стерильной чистотой, стряпая, стирая, перебирая стручки зеленого гороха, вынимая кости из рыбы или снимая воздушную розовую пенку с варенья.

Он не сводил глаз с ее лица, пытаясь понять, о чем она думает, какую тайну скрывают ее всегда приспущеные веки и плотно сомкнутые губы. Он ходил за ней хвостиком, и она не гнала его, изредка клала ему на затылок свою невесомую, похожую на осенний лист ладошку и едва-едва пробегала пальцами по волосам, легким касанием, будто ветерок дунул, – было приятно и в то же время отчего-то страшно. Додик замирал, по спине ползли мурашки, а в низу живота сладко холодело.

Однажды он не выдержал и спросил:

– Что это? Почему *так*, Бамара?

Она молчала по обыкновению. Он заглянул ей в лицо и увидел ее пронзительно голубые глаза, из-под приспущеных век устремленные в какую-то недостижимую даль. Он тоже стал смотреть в ту сторону.

Но взгляд все время спотыкался то о мусорные баки, вокруг которых, отвратительно попискивая, сутились длиннохвостые крысы, то об увитые виноградом беседки двух пребывающих в пожизненной вражде соседок-старушек Арны и Мили, то о развешенное для просушки белье (стандартный набор – разноцветные линялые трико и кальсоны, наволочки, простыни и полотенца), то о выставленную у чьей-то двери крышку гроба, вкривь и вкось обитую слегка посеревшей от пыли розовой тканью, будто давно стоит, ожидая случая, то об угол дома с отколотой штукатуркой и добротно выбитыми срамными словечками, то о клочковатую тучу, набекрень залихватски

нахлобученную на крышу.

Дальше дома и тучи он не видел ничего. И снова спросил:

– Что там, Бамара? Что?

Она почти не говорила по-русски, только по-еврейски, и с ним тоже. При этом, он хорошо помнит, они понимали друг друга, так было всегда. Но в тот раз – особый случай: она щекотно прижалась сухими шершавыми губами к его уху и тихо, быстро заговорила. Долго говорила, взволнованно, он никогда не видел ее такой – даже румянец пятнами выступил на обычно бледных щеках и на лбу красные пятна выползли из-под темного платка, всегда прикрывавшего голову.

Странно, но он все понял, хотя ее слова показались ему полным бредом.

– Он Давид и ты Давид, – шептала она, подняв кверху указательный палец. – Он – царь и ты будешь царем, внучок. Будешь! – Она погрозила пальцем то ли ему, то ли кому-то на небесах. – Ты сейчас этого не понимаешь, и долго будешь сопротивляться, но ты станешь царем, мой мальчик, и музыке научишься, и петь станешь свою музыку, славя имя Еgo. Здесь это будет или *там* – не знаю, отсюда не видно. Пелена все застит, поближе подойду, должно проясниться.

Она опустила руки, они безвольно повисли вдоль туловища, тяжело втянула в себя воздух и добавила:

– А коли нет, уже *оттуда* подскажу, пока не знаю, как, но ты поймешь, внучок, обязательно поймешь.

Бамара умерла у него на руках. Он нес ее невесомое тельце, которое, может, еще не покинул дух, и чувствовал каким-то необъяснимым чутьем, что она уже не жива, но еще и не мертва. Ему захотелось что-то сказать ей на прощание, но на каком языке? Он посмотрел на нее – веки приспущены, губы плотно сжаты, ладонки перекрещены на груди, как два пожелтевших осенних листочка, чуть вздрагивают, отзывааясь на его торопливый шаг. Ничего вроде не изменилось, только он несет ее на руках к машине скорой помощи, понимая, что спешить незачем. И Бамара никуда не спешила, спокойно и удобно умостилась, как дитё малое, прижалась к нему, теплые волны пробегали по его телу. Все окружающее исчезло, они остались одни, и тогда он напел ей что-то на ухо, прикоснувшись к нему губами.

Санитары уложили Бамару на носилки, накрыв сверху простыней, Любания села в машину и та, медленно виляя по разбитой дороге, растаяла в предсумеречном тумане. Додик стоял, ошеломленный – ни слов, ни мелодии, которую напел только что Бамаре, он вспомнить не мог.

Она унесла их с собой.

Плакали над могилой Бамары только он, Любания, Изя и Ривушка. Басёна давно уж лежала в соседней могиле, а то бы она плакала горше всех. Остальные родственники скучились в сторонке, переступали с ноги на ногу, ожидая, когда реб Изя Крамер, дочитает молитву, заученно, монотонно, лишь изредка взмывая голосом в поднебесье, при этом он откидывал назад голову и устремлял взор вслед исчезающему звуку, и на лице его вспыхивала неуместная случаю радость. Он вскидывал в стороны и вверх руки, становился похожим на птицу, готовую улететь вслед и никогда больше не возвращаться сюда, на грешную землю. Ничего хорошего он здесь не видел за всю свою жизнь, от рождения – бедную полуголодную жизнь в местечке, ранний тяжелый труд подмастерьем по выделке кож, погромы, войны, социализм, фашизм, антисемитизм… Да о чем говорить – он завидовал каждому покойнику, которого провожал в царствие Божие.

А над этой старухой плачут, будто дитя хоронят. Правда, всего четверо из всей мишпухи¹, да бывает, что и никто, а провожающих – толпа, как на праздничной демонстрации. А тут всё в другой пропорции – провожающих восемнадцать человек, из них – десять мужчин, аккурат миньян², если бы понадобилось для правильного ритуала. Но об этом разговора не было, он сам предложил кадиш³ почитать, не отказались, но и участия никакого не приняли. Равнодушно проводили старуху, никто волосы и одежду на себе не рвал.

Но четверо плачут, и не притворно, не показушно, а от всего сердца, уж кого-кого, а его, Изю Крамера, не проведешь. Уходя, он несколько раз оглянулся – все поспешно разбрелись кто куда, поминки по правилам не положены. Над могилой застыли четыре скорбные фигуры.

Они стояли у свежей могилы Бамары – Додик, Любания, Изя и

¹ Мишпуха – семья (здесь и далее - идиш/иврит).

² Кворум, не менее десяти взрослых мужчин, необходимый для некоторых религиозных церемоний.

³ Поминальная молитва.

Ривушка, ноги скользили по влажной глине, могильный холм, ничем не прибранный, ни цветами, ни венками производил удручающее впечатление. Только Любания прижимала к груди шесть больших темно-бордовых георгинов, которые срезала утром в палисаднике Бамары. Знает, конечно, знает, что евреи не кладут на могилу живые цветы, не принято, но положит непременно, как всегда, это делает, когда все разойдутся.

Каждый думал о своем.

Додик, простившись мысленно с Бамарой, не сводил глаз с фотографии Басёны. Она улыбалась нежно, смущенно, а глаза сияли теплым светом, как живые, их васильковые блики отражались повсюду – на черном граните памятника, в небольших лужицах вокруг могилы, пропускали прогалинами в разрывах туч.

Он помнит день смерти Басёны в мельчайших подробностях.

Когда комья сырой глины застучали о крышку Басёниного гроба, рядом с ним оказалась Ривушка, лицо зареванное, аж синее, а рот криво улыбается.

– Теперь, когда Басёны нет, у тебя осталась только я, – прошептала, не разжимая губы. – Никуда ты от меня не денешься.

И посмотрела на него снизу вверх, искоса, сквозь тяжелые опухшие от слез веки, как-то странно, победоносно и даже радостно, показалось ему. Будто только того и ждала, чтобы Басёны не стало. Его всего передернуло – и от этих слов, и от ее вида, и отчего-то еще дурного, непоправимого, хуже смерти.

Ему сделалось не по себе, накатила, тяжелая липучая дурнота, до обморока. В эту минуту Додик понял, что потерял их обеих. Навсегда. Он спрятался за спиной Бамары, чтобы не видеть разверстую могилу, в которую опустили простой, грубо струганный деревянный гроб, последнее убежище Басёны, заплывшее Ривушкино лицо, только что радостно улыбающееся ему. Он глядел прямо перед собой и видел спину Бамары и верхушки тополей высоко в небе, больше ничего.

Все же он был очень мал для такого сильного потрясения, ему только исполнилось тринадцать, и хоть Бамара говорила маме Хасе про бар-мицву, та твердо сказала:

– Нет, мама, сейчас это не принято. Ничего делать не будем. Пусть растет как все дети. Он уже пионер, пусть будет как все.

– Но так нельзя, он ведь еврейский мальчик, – слабо возразила Бамара. – В нашем народе испокон века совершеннолетие мальчика отмечают, как самый большой праздник в его жизни.

– Когда это было, теперь все по-другому, – стояла на своем мама Хася.

– Он уже взрослый, надо его спросить, – не унималась Бамара.

– Нет и еще раз нет. Простите, мама и не сердитесь. И Фишель возражает. Будет так, как мы решили.

– Что твой Фишель? Ему фашисты на войне руки покалечили, а коммунисты – мозги, вот он и забыл, что он еврей, сын раввина и внук раввина, все мужчины в их роду проходили брит-милу¹ и бар-мицву², все читали Тору и соблюдали шабес³.

– Мама, я вышла замуж за Фишеля и не хочу, чтобы вы его обсуждали и порочили.

– Ох, таки радость великая, замуж за Фишеля вышла, а чему радоваться-то, он тебе в отцы годится, это раз, сына твоего в дом не пустил, это два.

– Ой, мама, что ж вы мне рану ковыряете, вы ж знаете, почему Фишель не хочет, чтобы Додик жил с нами – у него дети в гетто погибли, все трое, и мать его, и бабушка, и сестры с племянниками, почти все родственники погибли. Ему больно видеть в своем доме живых детей. Еврейских, тем более.

– Ему вообще больно видеть евреев, и мертвых, и живых.

– Да, да, после всего, что случилось, он считает, что еврей должен сидетьтише воды, ниже травы, никому в глаза не лезть. И я с ним во всем согласна. Не надо Додику без конца напоминать, что он еврей, не надо мама, прошу и умоляю вас, пожалуйста. Пусть растет, как все советские дети.

Бамара ничего не ответила, только судорожно вздохнула.

Разговор этот подслушала и слово в слово передала ему Ривушка, она была старше и одна из всех детей хорошо понимала идиш, даже говорить умела.

Додик был ошеломлен, может быть, с этого момента всерьез

¹ Брит-мила – обрезание, древнейший ритуал иудаизма.

² Бар-мицва – обряд, знаменующий вступление еврейского мальчика в совершеннолетие, тринадцать лет.

³ Суббота.

началась его раздвоенность — он пионер, как все советские дети, он еврей, как все его родственники. Так кто же он?

Басёна тогда отругала Ривушку:

— Ну, для чего ты рассказала это все Додику? Видишь, как он переживает. Он еще маленький, чтобы самому решать такие серьезные вещи. И знать ему это не надо, вырастет — сам все поймет.

Додик видел, что Басёна очень расстроилась, да и он был сам не свой.

А Ривушка, глядя на них, хотела, всплескивая руками.

— А вот и не маленький. Тринадцатилетний — совершенолетний, мужчина по еврейским законам. Совершенно летний, совершенно зимний...

И не могла остановиться — такой веселой показалась ей вся эта история и шутка, которую придумала. Или просто ей было весело, независимо ни от чего.

— Ой, не могу, — вскрикивала, обессиленная смехом. — Ой, не могу. Умереть и не встать. Тетя Хася замуж вышла за деда Фишеля, а он ей дядей приходится. Кровосмешение, как у праотца нашего Авраама с Сарой, ой не могу! Этот Фишель Трахман такой старый, зачем ей свою кровь с его смешивать. Ой, не могу! Зачем, спрашивается?

— Замолчи, пожалуйста. Ну что ты такое говоришь при ребенке. Авраам и Сара были двоюродными братом и сестрой. А Фишель тете Хасе не родной дядя, она не его племянница, а его первой жены тети Наны, которая скоропостижно умерла летом, еще война не началась. Никакого кровосмешения, глупости несешь, а зачем — не знаю. А тетя Хася пожалела дядю Фишеля за всё, что он пережил. Она добрая и мудрая.

Её глаза потемнели от огорчения, из васильковых сделались темно-синими и суровыми, как море перед штормом.

В эти минуты Додик любил Басёну.

Но смех Ривушки звенел в ушах радостно, заливчально. Неважным делалось то, над чем она смеется, важно — как. И ее полные влажные припухшие губы, растянутые в улыбке, и белоснежные зубки, и розовый язычок, гуляющий между ними, — сводили его с ума. Ах, он был влюблен в нее безмерно, без всякой надежды на взаимность. Он готов был умереть ради нее, за нее, во имя нее. Мысль об этом

вызывала сладостную истому, дремотную, тягучую, обычно с этим он засыпал.

И видел во сне Басёну, только ее, никогда Ривушку. И любил ее почти по-взрослому, переживая то, что еще никогда не происходило с ним наяву. Рассказать об этом он не отваживался никому – ни Ривушке, ни Басёне, ни Бамаре, ни маме Хасе, тем более. Тетя Изя все понимала, он видел это по ее взгляду, внимательному и чуточку насмешливому.

– Не переживай так, сынок, ничего страшного, – сказала она, застав его как-то в глубине старого сада под дикой грушей в страшном смятении, со слезами на глазах. – Просто ты взрослеешь, готовишься стать мужчиной, а девочки – твои сестры, это не любовь.

– А Авраам и Сара? – попытался он возразить по-взрослому, хотя ничего не знал и мало что понимал.

– Ах, когда это было, – отмахнулась тетя Изя. – Не повторяй ни за кем глупости. Все придет в свой час, сынок. Увидишь и вспомнишь мои слова.

Позже он часто вспоминал ее. А тогда, благодарный, ткнулся в нее мокрым лицом, она прижала к себе его голову, он затих на время, утопая в мягким, теплом ее теле, источающем сквозь платье и фартук тонкий сладковатый незнакомый запах, сделалось томно, дремотно, он подумал, что тетя Изя во всем права – ни при чем тут Ривушка и Басёна ни при чем. Кажется, он тогда заснул, успокоенный.

Точку в этой истории поставила смерть Басёны. Детское наваждение кончилось.

Ни мама Хася, ни Фишель не хоронили Басёну, он не мог видеть мертвых детей, и мама осталась с ним. В этот день Додик потерял не только Басёну, но и Ривушку, навсегда вычеркнул ее из своей жизни. Взросление в кругу семьи было нелегким.

И все же к своим он относился иначе, снисходительнее, что ли.

Да, конечно, они были разные, порой невыносимые. На свой характер, крутой, нетерпимый, Додик бы ни с кем не общался, если бы не Любания. Она к каждому нашла ключик, жалела, помогала, чем могла, и слушала, слушала, давая душу облегчить.

– Все же свои, родные по крови, – говорила она, укоряя его за холодность, бескомпромиссность и безучастность.

– Конечно, конечно, родные по крови, – вторил он,

пристыженный именно этими ее словами: не ей ведь, а ему по крови родные.

И он старался, как мог, перебороть свой эгоизм и принимать посильное участие в жизни родни, впрочем, удавалось это ему без особого успеха.

А к остальным евреям за забором Додик приглядывался с дотошным любопытством исследователя и одновременно с неприязнью, которую с трудом мог объяснить себе самому. А объяснение было проще простого – он не хотел быть похожим на них, не хотел, чтобы его с ними идентифицировали. С их картавостью, суетливостью и настороженностью, с их неизменным традиционным укладом жизни, с шумными обильными застольями, с их идишем вперемешку с украинским и русским, не язык, а суп-солянка с непременными добавками всего, что оказалось под рукой.

И главное, самое главное – с их извечной обреченностью на гонения, скитания, истребление, с затаенной в глубине их глаз неизбывной печалью, даже когда они веселятся, с отчаянной удалью, всегда – как в последний раз. Этот черный омут печали и скорби неудержимо манил его и отторгал одновременно, хотелось утонуть в этой непроницаемой черноте, чтобы навсегда избавиться от затаившегося внутри страха, изначального, от рождения или задолго до того.

«Смесь армяшки с гуталином» – ну что тут особенного? А «жид, жид, жид по веревочке бежит...»? Обычные детские глупости. Тогда откуда безотчетный страх и отделённость, отверженность, пробудившие в нем бессознательное поначалу желание оторваться от них, чтобы не быть вечно преследуемым.

Они, конечно, выжили, вот они здесь, рядом, только оглянись. И этот неоспоримый факт порождал в его душе непрошеннюю гордость за них. Он топил ее в привычном неприятии и отстраненности. Но тщетно.

Со временем все изменилось, он и не заметил, когда началась эта внутренняя перестройка. Собственно, никакой перестройки не было, просто все стало на свои места. Ему словно сделали операцию по пересадке всех жизненно важных органов и, пройдя все реабилитационные периоды, все рецидивы и осложнения, он будто

родился заново. Лучше поздно, как говорится, чем никогда.

Поэтому, когда Любаня сказала: «Надо ехать!», он не почувствовал никакого внутреннего сопротивления, никакого противоречия – покинуть родной город навсегда, смешавшись с толпой евреев, извечных странников.

Долгие годы он заглушал голос, который не давал ему покоя ни днем, ни ночью, преследовал повсюду, отравлял каждую минуту жизни. Это был внутренний голос, его никто не мог услышать, даже он сам, не голос даже, а некая живая сущность, плывущая по жилам, как по протокам реки, заполняя все самые мелкие ответвления. Она то гулко пульсировала в нем, вызывая тахикардию и необъяснимую тревогу, не имеющую ничего общего с текущим моментом повседневности; то билась, как птица с обломанным крылом, и он нервничал, раздражался, куда-то рвался, совершал необдуманные поступки, ночами бродил неуверенной походкой по улицам города, как лунатик по краю крыши, будто искал то, без чего завтрашний день может не настать; то ровным тягучим плачем, едва слышно, напоминала о чем-то давнем, не с ним произошедшем, жизненно важном, о чем он не имел права забыть. Короче сказать – этот голос не давал ему ни на миг забыть о том, что он еврей.

Ни на миг. Как он ни старался.

Его задевало все, что о них говорили – с официальных трибун или с подножки трамвая, на Привозе или в фойе кинозала. Ему хотелось набить морду обидчику и одновременно ударить оскорбленного за то, что позволяет так с собой обращаться. Он будто дрался на ринге с самим собой и едва успевал уворачиваться и наносить удары.

Потому и не отходил далеко от забора, не бежал прочь, сломя голову. Попробовал поначалу, но повсюду натыкался на этот забор, много шишек набил. И остановился – вдруг резко расхотелось бегать. И тут же столкнулся с взглядом *оттуда*, с той стороны.

Знакомый взгляд печальных, настороженных, встревоженных глаз, они плыли за ним повсюду, как два воздушных шарика на невидимых нитях, ни на миг не оставляя его без присмотра. Это были глаза Бамары, Басёны, матери, Фишеля, его убитых детей, всех працрапрадедов и працрапрабабок, працителей Авраама и Сары, царя Давида, и еще множество глаз, вместивших всю муку, боль, страдание,

надежду, достоинство и непоколебимую веру. Он отвернулся в последней попытке уйти, но не смог, потому что это были и его глаза.

Вот тогда он, Дод Перль, всю жизнь простоявший по другую сторону забора, с облегчением шагнул внутрь.

Наконец, закончились его метания длиною в долгую жизнь.

Теперь он отпустил бороду и хотел, чтобы его называли Давид. На Дод, Додик и Рид не откликался, старые одесские приятели не на шутку обижались, крутили пальцем у виска — мол, не в себе совсем стариk, мешигенэ, сумасшедший.

А вот и нет — не сумасшедший вовсе, совсем даже наоборот — нормальный, как и полагается в его возрасте, вдумчивый, неспешный, немногословный, устремивший взор куда-то даже не внутрь себя, а как бы сквозь, куда-то дальше, глубже, где на самом дне колодца вечности лежит то, ради чего он пришел в этот мир. Разгадка, как ему казалось, приближалась, как неизбежно приближалась развязка — исход из этой жизни. Его единоличный исход.

Он много читал, знал о царе Давиде почти все... Иногда во сне пел псалмы на мотив, который являлся ему ночами, и тогда ему казалось, что он уже почти постиг смысл своей жизни. Пробуждение было тягостным — он что-то искал, прислушивался, ни с кем не разговаривал, даже с Любанией. Ее встревоженный взгляд нагонял на него тоску, а она во всем винила себя — не надо было тащить его в Америку. Умереть можно было дома, даже лучше — дома.

Почему-то Любания думала, что Додик скоро умрет, носила в себе это предчувствие, прятала подальше от себя самой, но время от времени чувствовала в желудке жжение, боль и какое-то неприятное тяжелое перекатывание, будто камень в себе носила, и он все рос, рос. А она все молила Бога: «Прости ему все его прегрешения, и он будет спасен, отвороти от него все беды, болезни, страдания, и он будет жить долго и счастливо, вознося молитвы Тебе и благодарение». Все слова сама придумала и все за него просила, за Додика.

Пока не поставили ей диагноз, как приговор, который пересмотрят и обжалованию не подлежит. Любания сперва даже не испугалась, только удивилась, потом долго не могла поверить, смириться, но камень давил так тяжко и ворочался беспрерывно, как ребеночек, готовый к рождению. Наверное — так, не послал ей Господь эту радость,

не знает она этого и не узнает никогда, а свою судьбу – не сбросить, не избыть. Видно, так предопределено. И она должна с этим совладать.

И постараться подготовить Додика, настроить его на жизнь, внушить, что она всегда будет рядом, всегда, что бы с ним ни происходило. Но как внушить закоренелому советскому атеисту, хоть и бывшему бунтарю и стиляге то, во что он категорически не верил. Так думала бедная Любания, не подозревая даже какие перемены произошли с ее Додиком, с ее мальчиком, себялюбцем и баловнем. Внешне – да, заметила, конечно, кто как не она угадывала всегда его настроение, все повороты и перепады. А вот, поди ж ты – главное пропустила.

– Не зови меня Додик, прошу тебя, – настойчиво повторял он последнее время, просительно заглядывая ей в глаза. – Пожалуйста, Любания.

Так, бывало, когда о чем-то очень важном просил, редко случалось, она обычно сама все угадывала. А тут такой прокол случился.

Посмеялась даже над ним:

– Может, мне тебя не просто Давидом, а еще и по батюшке звать и на вы. А что – самое время, всего-то полвека вместе прожили. В самый раз на вы перейти.

И засмеялась, и руку протянула, чтоб поерошить непослушные волосы, Додик любил, когда она это делала. А он резко дернулся в сторону, кинулся, чуть не упал. И с горьким укором сказал:

– Ничего-то ты, Любания, не поняла, – помолчал и добавил сокрушенно: – Вот какая у нас с тобой оказия вышла.

И больше они почти не разговаривали. Так, по бытовым мелочам, о погоде в Нью-Йорке и в Одессе, о ценах в магазинах, о свадьбах, рождениях и смертях среди родных и знакомых здесь и там. Да и говорила больше Любания обо всем, кроме своей болезни. Додик чаще молчал, не вступал в спор с ней по любому поводу, как бывало раньше, а она хоть и делала вид, что сердится, даже обижалась почти всерьез – на самом деле любила эти живые беседы, временами похожие на ссоры, но лишь похожие. Без них было скучно, она готова была часами слушать Додика, это не мешало никакому занятию, даже засыпала она под его голос, лучше, чем со снотворным.

Вот такая вышла оказия.

Когда она лежала в больнице, мучительно доживая последние дни, Додик всегда был рядом, держал ее руку в своих ладонях, перебирал тонкие ломкие безжизненные пальцы и молчал. Она понимала – сказать ему нечего, ни утешить, ни обнадежить, ни помечтать, разве что вспомнить, как все было, всякого, разного накопилось за пятьдесят лет супружеской жизни. Если день за днем вспоминать, может, жизнь возродится, хоть ненадолго.

В полусонном бреду ей мерещились одесские запахи, голоса, озорные, крикливы, родные, мелькали лица, лица, лица, как маски, и кружились тени, тени, тени, хоровод теней... Они окликали ее через десятилетия и расстояния, с другого берега другого моря, она то путалась в лицах, то узнавала, то не могла вспомнить, кто склонился над ней, чьи слезы капают на лицо, чьи руки бережно перестилают постель, гладят ее тело, отгоняют боль и страх, родные руки, теплые с мягкими подушечками пальцев, с коротко остриженными розовыми ногтями и тремя маленькими родинками-пуговками на правой руке с тыльной стороны ладони, как раз посередине, между средним и безымянным пальцами...

Господи, боже мой – мама, мамочка, родная, как могла она не узнать. Видно, совсем плоха. Она повернула лицо к Додику, хотела поделиться радостью – к ней только что приходила мама... Но голоса не было, она попробовала мимикой и жестами, он не понял ее.

Они отдалялись друг от друга, их разводили по разные стороны от барьера, к которому она подошла почти вплотную: ее толкали в спину, подгоняя – вперед, вперед, а его – руками в грудь, подальше – в глубь, подальше – в жизнь.

И это правильно, она так хотела. Чтобы он жил. Пусть без нее, конечно, обидно, что без нее, но кто-то же должен быть первым, если нельзя вместе, взявшись за руки, сорваться с утеса в бездну в затяжном прыжке без парашютов и подстраховки – смертельный номер в чистом виде, без всяких уловок, без обмана.

Если вместе нельзя, значит, она должна уйти первая.

Так первая ушла мама, доиграв свою роль до конца.

Лежа в онкоклинике перед операцией, ругала почем зря своего мужа Петюню, большого, красивого мужчину, без ума влюбленного в нее, ругала за все – за то, что потратил невесту на что

месячную зарплату, которую оставила ему на время нахождения в больнице, за то, что плачет всякий раз, как только заходит в палату и шмыгает носом, как невоспитанный школьник младшеклассник, за то, что замуж за него пошла вопреки воле матушки, за то, что каждый раз приносит марокканские апельсины с косточками, а она их не ест, просит хурму королек-шоколад, а он не знает, что это. За все-все, в общем, вдохновенно ругала, может быть, самую малость переигрывая.

А после операции, отлежав в реанимации положенные три дня, стала готовиться к переходу в отделение, в общую палату, где у нее своя плацкарта у окна, как в вагоне поезда дальнего следования. Надела розовый легкомысленный нейлоновый халатик, с разрезиками по бокам, откуда вытарчивали ее желтые сморщенные, тонкие, как макаронины, ножки, нацепила на реденькие сизо-рыжие волосики то ли бантик, то ли фантик, и церемонно взяв под руку медсестричку Наташеньку, вышла в коридор, стреляя по сторонам глазами. Навстречу шаркал мужичок с ноготок, лысый, тощий как скелет, с огромным пузом, каждый шаг сопровождался то всхлипом, то всхрапом с присвистом – полный кошмар. Умереть от слез.

Отвернувшись, она похлопала своей невесомой ладошкой Наташеньку по руке и сказала, как бы подытоживая долгие свои сомнения:

– Ну и что мне теперь менять моего раскрасавца Петюнечку на цешило? Да никогда в жизни.

А жизни осталось всего два месяца, мучительной, тягостной.

Мучительными и тягостными были и последние два месяца жизни Любани. Она шла след в след за мамой. Только роль свою забыла, играла кое-как.

Лишь в самый последний день, когда к ней вдруг вернулся голос, так бывает перед смертью, только она об этом не подумала, обрадовалась чему-то и тихо позвала:

– Додик, Додик.

Он не отозвался, хоть и сидел вплотную к ее постели, то ли задремал, то ли задумался о чем-то своем, теперь это часто бывает. Она бы отдала несколько дней жизни, хоть еще до конца не рассталась с ней, измученная, покалеченная, что-то еще удерживало – отдала бы, чтоб узнать, о чем он думает вдали от нее? О чем?

А Давид думал о ней. Хотя «думал» – это не совсем точно. Он всем существом своим ощущал ее уход, она покидала его, ему было больно, будто с него живого сдирали кожу, каждый нерв воспаленно вибрировал, сопротивляясь этой боли. А она все нарастала и нарастала, поглощая его целиком. Он ничего не мог противопоставить ей, да и что он такое – песчинка, молекула, которой играет какая-то неведомая сила. И Любания – такая же молекула, злой жребий выбрал ее.

«Почему? За что?» – спросил он вчера рабби в синагоге на Оушн авеню, куда забрел от полного отчаяния. Тот посмотрел на него с сожалением, будто Давид не вполне в себе, что задает такие наивные вопросы, а узнав, что Любания гойка⁵, чуть не вытолкал его из синагоги – иди, иди, Давид, нечего тебе здесь делать, ступай.

На улице он чуть не сшиб с ног бывшего соседа-одессита Соломона Глухмана, который и сейчас жил неподалеку, ходил в лапсердаке, шляпе, с пейсами.

– Ну, как Любания? – спросил участливо.

Давид не ответил.

– Пойдем в синагогу, помолимся вместе.

– Нет. Я там уже был.

Соломон понимающе покивал головой.

– Ладно, ладно, я сам буду молиться... Господь милосерден.

– Нет! – выкрикнул Давид и резко выбросил вперед руки, будто защищаясь от чего-то. – Нет, – повторил твердо. – Она умирает. В чем же Его милосердие? Объясни мне, – попросил, – пожалуйста, объясни.

Черные глаза Соломона Глухмана наполнились слезами сочувствия. Ничего не ответил он Давиду.

– Я буду молиться за Любанию, – повторил тихо и зашаркал прочь, ссугулив спину и низко опустив голову, будто в чем-то виноват перед Давидом и перед Любанией.

Давид шел в больницу, не замечая ничего вокруг, будто по пустыне – только песок и солнце, даже горизонта не видно за желтой песчаной дымкой. Он шел и шел, увязая в песке, в какую-то даль, неся туда свою последнюю надежду – может быть, там все не так безжалостно и необратимо.

– Давид! Давид! – окликнула его Любания, и он возликовал,

⁵ Нееврейка.

услышав ее голос.

Она заговорила – значит, будет жить. Ах, он тоже забыл, что такое случается перед смертью, но он не хотел, чтобы Любания умирала, он не мог с этим смириться.

– Давид, родной мой, очнись, я умираю... Давид, я ухожу, – повторила тихо, уже издалека.

Давид – сказала на прощание Любания, будто благословила его. Как Бамара когда-то в детстве ...

Давид очнулся, в палате было светло и тихо, кровать, на которой лежала Любания, была аккуратно застелена белой простыней. Он сидел на стуле, сложив руки на коленях, сцепив в замок побелевшие пальцы и, слегка раскачиваясь взад-вперед, что-то напевал себе под нос. Седые волосы дыбом торчали вокруг головы, взгляд был пустой, блуждающий – точь-в-точь безумный король Лир из трагической пьесы Шекспира. Но рядом не было Любани, оплакать его безумие было некому.

После смерти Любани Давид не хотел жить – ни здесь в Америке на Оушн угол Кей, ни в Одессе на Чичерина угол Канатной. Нигде. И он не знал, что будет делать.

На седьмой день ночью он проснулся внезапно, будто кто-то позвал его. Не голосом позвал, а как-то иначе. Он долго лежал на спине, не мигая, глядел вверх, сквозь потолок в кромешную тьму космоса, и прислушивался к чему-то. Сначала тьму нарушили отблески света за окном, мечущиеся по потолку светящиеся тени от проезжающих мимо машин, мигающий от свет фонаря на перекрестке, потом все куда-то исчезло, и его широко раскрытые глаза окунулись в плотную однородную черноту, будто ослеп внезапно. Заломило в висках, веки дрогнули и тяжело опустились. Ему вдруг сделалось страшно, дрожь пробежала по телу от голых пяток до макушки, он почувствовал, как шевелятся волосы, постукивают зубы и все внутри переворачивается от цепенящего ужаса. Он лежал, раздавленный страхом, презрением к своей слабости, оглушенный, расплещенный. Не было сил ни двигаться, ни дышать, ни думать о чем-то.

И вдруг зазвучала музыка, едва различимая, откуда-то издалека, она рождалась в нем и вливалась в него одновременно, и он узнал ее. Это была его музыка, он всю жизнь носил ее в себе, беззвучную и

прекрасную. И вот, наконец, услышал. И запел. Слова и мелодия слились воедино, душа до краев переполнилась счастьем, какого ни разу в жизни не довелось пережить ему. Ни разу. Никогда.

Пальцы его перебирали струны, голос звучал уверенно, вдохновенно, взгляд устремился за горизонт, волосы развевались на ветру, а босые ноги увязали в мокром прибрежном песке...

Океан штормил, никто не отваживался бороться с волнами. Только он, Давид Шмулиевич Мутерперель, бывший стиляга и бабник, а после – добropорядочный семьянин, верный муж и друг своей жены Любани до самого ее гробового порога на чужбине, в далеком от родной Одессы нью-йоркском Бруклине, на углу Оушн авеню и Кей, только он шагнул в рухнувшую на берег волну, пережив ни с чем не сравнимый восторг ужаса, как когда-то в раннем детстве, когда волна понесла его неудержимо – подкинула в небо, а оттуда низвергла в темные глубины, в толщу пучины морской.

Сделалось легко, спокойно – все, достиг предела. Прибыл, куда стремился, а что *это* – знать не положено. Плыви себе! лети! – нет больше никаких проблем и заковыристых вопросов. Все решено, что было отпущено.

Нет неисполнимых желаний, несбывшихся надежд, никуда не надо ехать и возвращаться никуда не надо.

Сколько Давид проспал – не помнит. Проснулся, как очнулся от летаргии, долго не мог понять, где он, что с ним, будто из давно прошедшего или из далекого будущего вернулся в день сегодняшний, за окном – безоблачно, на душе – светло и покойно, мысли – ясные.

«Господь со мной, не устршусь, Господь со мной». То ли сам произнес беззвучно, про себя, то ли кто-то подсказал ему, и будто разлетелась на мелкие осколки, песком осыпалась тяжелая каменная глыба, под которой лежал раздавленный – ни прдохнуть, ни кончиками пальцев рук-ног пошевельнуть, ни веки приподнять.

Легко встал с постели, впервые надел черный пиджак и шляпу, подаренные Любани на последний его день рождения за полгода до ее смерти. Мимолетно взглянув в зеркало, с удивлением отметил, что волосы не торчат дыбом, улеглись легкими волнами, и борода не топорщится, как старая, облезлая половая щетка, и глаза не горят лихорадочным блеском. Все в нем успокоилось – и внешне и внутри. И

на улицу выйти не страшно.

«Шалом, Давид!» – окликали его с противоположного конца Брайтон-Бич, едва он появлялся на берегу с неизменным томиком Псалмов Давида под мышкой. Вместе со шляпой рост его составлял один метр девяносто один сантиметр, как когда-то в прежней жизни, когда он был заметной фигурой в родном городе Одесса, где его знали все.

Сейчас его тоже все знают. Многие собираются здесь специально для того, чтобы послушать, как он поет псалмы Давида на музыку, которая рождается тут же, всякий раз заново. Дивная музыка, божественная. Давид поет вдохновенно, легкий атлантический бриз треплет его волосы и бороду, глаза устремляются в далекую даль, казавшуюся ранее недостижимой.

– Что *там*, Давид? Что? – иногда спрашивают его со страхом и надеждой, как когда-то давным-давно он сам спрашивал Бамару.

Он вглядывался до боли в глазах, потом зажмуривался, прикрывал ладонями веки, ища в темноте отпечаток того, чего взор не достиг.

– Не знаю, отсюда не видно, – отвечал честно. – Пелена все застит, поближе подойду, должно проясниться.

Так говорила ему Бамара, слово в слово. Он и возраста ее уже почти достиг, и все страхи оставили его, кроме одного – увидит ли он *там* Любаню. Только это волновало его, все остальное выстроилось.

Она часто приходила к нему по ночам, он не успевал разглядеть ее, изменилась ли она или все такая же, какой была на земле, только слышал ее голос: «Мы всегда будем вместе, Додик, не переживай, родной, – всегда, где бы мы ни были...»

«Додик», – улыбался в усы Давид. – Ну, пускай «Додик», пускай.

Главное – чтобы они всегда были вместе. Здесь он знает, *как*. Здесь он не отпускает ее от себя ни днем, ни ночью – засыпая и просыпаясь, чувствует ее теплую ладонь в своей руке, и тенью на песке лежит рядом с ним она, и нежным порывом ветра ласкает лицо, он то видит ее спину со сведенными как у маленькой девочки лопатками и угловатыми плечиками, то изящный поворот головы, то легкие, как крылья чайки, руки, взметнувшие над волной. Здесь она всегда рядом.

Главное – чтобы *там* никакая сила не разлучила их. Главное – *там*, по другую сторону надежды, куда отсюда никому заглянуть не

удается.

Лиза АЗВАЛИНСКАЯ. Жёлтые тюльпаны

Нина Абрамовна с возрастом стала напоминать часы. Часы, конечно, в любой момент могут остановиться, но пока они тикают и стрелки движутся в заданном направлении, они не могут вдруг удивиться или растрогаться и отклониться от курса. Нина Абрамовна так же не признавала сюрпризов. Она продвигалась по циферблату жизни, отсчитывая отведенное ей время, и гордо не оглядывалась назад.

И до войны, и после, с мужем и без, она проживала в квартире на Пушкинской, в той стороне, что ведёт на Приморский бульвар. Дом с мраморными ступенями ветшал, не скрывая признаков увядания, словно связывал альфу с омегой её ещё длящейся жизни.

В юности немногословная Ниночка привлекала внимание не красотой. Что-то было в ней необычное, с лихвой заменявшее ей красоту. Цыганское своеволие с купеческой обстоятельностью вступали в какую-то алхимическую реакцию, позволяя ей проносить свои недостатки с достоинством королевской особы. Взглядом ей удавалось выразить то, что кто-то высказывал целой тирадой. Одним взглядом она могла похвалить, пристыдить и даже отвесить пощёчину. Как же это было давно! Время великодушно оставило всё, что не смогло отобрать. От юности у Нины Абрамовны сохранился только сложный характер и фирменный «говорящий» взгляд.

Теперь она жила с дочкой, зятем и внучкой. Зятя она недолюбливала за то, что «косит под интеллигента». Да и не только за это. На дочь смотрела со смешанным чувством любви и досады, словно в неухоженной тётке, во всём потакающей мужу, искала следы прелестной маленькой Милочки. Только внучка вызывала в ней нежность. На внучку она смотрела с надеждой, – так порой смотрят на дорогой материал, который ещё не успели испортить.

В квартире с высокими потолками она занимала комнату с выходом на балкон. Балкон на втором этаже утыкался в крону платана. По утрам знакомая ветка по-приятельски шелестела листвой. На балкон отовсюду слетались голуби. Нина Абрамовна их кормила. Голуби гадили. Нина Абрамовна безропотно убирала и, упреждая реплики зятя, сквозь зубы цедила:

– Гадят все... А эти хотя бы гадят без фальши.

Скользнув презрительным взглядом по пузырьку корвалола, она торжественно выходила из комнаты. Всегда в красивом халате, при

маникюре, обходила квартиру, хозяйственным взглядом всё подмечала и старалась не выказать недовольства. Хозяйством теперь занималась дочь. Нина Абрамовна в своё время была прекрасной хозяйкой и очень вкусно готовила. Дочь готовила по её рецептам, но кулинарных талантов не унаследовала. Вроде бы выбирала те же продукты, соблюдала пропорции, но вкус получался не тот, словно блюдам в её исполнении, как и ей, не хватало характера. Нина Абрамовна удерживалась от замечаний и старалась вежливо улыбаться. Она давно со всем примирилась, словно пришла пора прикрутить огонь. Всё, что в ней когда-то в полную силу кипело, теперь ещё по привычке тихо бурлило на слабом огне.

Со всем, что её окружало, она как бы сосуществовала и отыхала душой в узком кругу самых верных и преданных. В этот круг входили платаны, голуби, памятник Пушкину на бульваре и море. Пушкина, как и прочих, она ценила за постоянство. Отправляясь на променад, она останавливалась у памятника, мысленно задавала вопрос: «А помнишь?», и всякий раз ей казалось, будто Пушкин ей откликался. Но что вспоминать? Брюзжать она не любила, а сентиментальность её характер не предусматривал.

Так проходили дни. Нина Абрамовна их проживала, не слишком радуясь радостям, но и не огорчаясь от огорчений, принимая их как лицо и изнанку одного и того же, как бы это ни называлось. Лето, осень, зима повторяли заведенный ритуал, и только один раз в году в ней что-то менялось. В этот день в середине апреля, когда наступал её день рождения, она не сдерживала себя, по опыту уже зная, что противиться бесполезно — воспоминания, как вода, всё равно найдут щель и просочатся.

И сегодня, в свой день рождения, ещё с утра она чувствовала себя на подъёме. Невольно всплывало, как после войны прислушивалась к двери, ждала возвращения с фронта мужа.

В эвакуации она оказалась с крошечной дочкой. Мыкалась, голодала и нигде не могла приткнуться. Кто знает, как бы сложилось, не встретившись ей тогда Нatan Львович.

Списанный с фронта после ранений, от которых он вообще не должен был выжить, Нatan Львович был направлен в тыл возглавлять предприятие. Он был совсем молодым, все его называли просто Нatanчиком. С огненно-рыжей гривой и пламенным взглядом местечкового большевицкого вожака он кипел неуёмной энергией и

заражал окружающих своим клокочущим энтузиазмом. Хромой на левую ногу, перебитый и изувеченный он везде успевал, всех поддерживал и как мог помогал. Ниночка напоминала ему его жену Малку, и у него была дочка примерно возраста Милочки. Если бы не Натанчик, признавалась она себе, они бы, наверное, не выжили.

Из эвакуации возвратились в квартиру на Пушкинской. Ниночка готовилась встретить мужа, услышала долгожданный стук, распахнула дверь и обомлела... На пороге стоял Натанчик. В первый момент она его не узнала. Растрёянный и поникший, он казался собственной тенью. Он ещё не успел ничего сказать, как она уже всё поняла: в живых у него никого не осталось и идти ему больше некуда. Ещё каких-то пару секунд она молча разглядывала его. От того Натанчика, с которым она рас прощалась, ничего не осталось. Лишь в глазах, затуманенных скорбью, наперекор всему пробивалась наружу недобитая жажда жить.

Милочка радостно вскрикнула, обхватила его за шею, осыпала поцелуями.

Муж вернулся где-то месяц спустя. С руками-ногами, целый и невредимый, как будто война обошла его стороной. И никто бы не смог догадаться, что его шарахнуло изнутри. Снаружи он оставался прежним - уверенным и спокойным, но внутри словно что-то замкнуло, сломалось, разучилось различать в жизни краски.

Михал Михалыч вопросительно посмотрел на Натанчика.

– Я тебе потом всё объясню. Он останется с нами.

Михал Михалыч пожал плечами и согласился.

За Натанчиком закрепили комнату, в которой он по приезде обосновался. Милочка поначалу путалась, кого называть из них папой. Михал Михалыч вернулся на службу. Ему суждено было занимать солидные должности. Высокий, серьёзный, с начальственной внешностью, он соответствовал образу «строгий, но справедливый». Иногда он казался слегка заторможенным, иногда чересчур озабоченным. Но образ это не нарушало. Говорил он медленно, с расстановкой, словно нёс ответственность за каждое слово. Со стороны это выглядело авторитетностью и вызывало к нему ещё большее уважение.

Натанчик прижился под видом дальнего родственника, чередуя по надобности обязанности дворецкого, гувернёра и помощника по хозяйству. Он носил кошёлки с Привоза, рассказывал Милочке сказки, позже учил с ней уроки и водил в музыкальную школу.

Жизнь постепенно налаживалась. Тогда вспомнили лозунг «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья» и стали подыскивать дачу. Смотрели в Аркадии, на Фонтане. Тут подвернулась одна на 16-й станции, прямо у моря. С улицы пару ступенек наверх, а там по дорожке к калитке. Имелось несколько комнат, кухня, веранда. Рядом с верандой зацветала ветвистая старая вишня. Весенние ароматы сливались с запахом моря. Апрель уже подходил к середине. После осмотра повернули назад, на дорожке остановились.

Баба Катя выглянула через забор посмотреть, каких ей бог посыпает соседей. Увидела странную троицу и что-то заставило её задержаться. Она с любопытством разглядывала этот человеческий треугольник. Один представительный в костюме, с портфелем. Другой невысокий рыжий, вертлявый. И дамочка между ними. Ещё молодая, важная, сразу видно, с характером. Баба Катя была женой рыбака. За долгую жизнь она столько перевидела рыбы, что сразу определила, кто здесь – мужчина, а кто – манекен.

Тут дамочка глянула в сторону, где игривый солнечный луч высвечивал кучку жёлтых тюльпанов. Тонкие, на высоких стеблях, они с лаконичным изяществом тянули вверх свои стрелы, словно стояли на страже неожиданно им привалившего счастья. Перехватив её взгляд, рыжий с дамочкой быстро переглянулись, как если бы перекинулись фразой на каком-то понятном им одним языке и... «Покупаем», – объявила Нина Абрамовна.

С мая дача превращалась в имение, а Нина Абрамовна становилась помещицей, которая твёрдой рукой управляла хозяйством. Всё у неё сверкало, ко времени расцветало и старалось порадовать урожаем. Нина Абрамовна отвечала закрутками, вареньями и наливками, а из кухни струились запахи, от которых даже у мёртвого разыгрался бы аппетит. Наташа чистила картошку, подготавливала лук и морковку. Всё это шкворчало, варилось, тушилось. Нина Абрамовна наклонялась к кастрюле, ложкой снимала пробу, а Наташа следила за ней обожающим взглядом.

Старая вишня в июле плодоносила, как мать-героиня. «А не замутить ли сегодня вареники с вишней?» Наташа ловила её взгляд и с готовностью соглашалась. Нина Абрамовна принималась за тесто, Наташа из вишен выщелкивала косточки. К обеду вареники из тончайшего теста утопали в сиропе, и начинался вишнёвый разрыв.

Сытый Михал Михалыч благодарно шептал: «Нинуся...», — на этом его мысль обрывалась, и он замолкал.

Иногда на веранде играли в карты. Коротали свободное время партией в «дурака». Натанчик нарочно слегка мухлевал, Нина Абрамовна деланно хмурилась. Карты мешали и снова сдавали. Натанчик старался подсунуть ей козырь, лукаво прищуривал глаз, что-то шептал на ушко, и Нина Абрамовна расплывалась в улыбке.

Вечерами спускались к морю. Эти вечерние выходы негласно проводили черту под прожитым днём. Мимо будки с мороженым, мимо клумбы с петунией и ночным табаком, от которого в воздухе плыли пряные нотки, Нина Абрамовна шла в крепдешиновом платье, рядом Михал Михалыч в парусиновых брюках и сбоку принаряженный Натанчик. Издали море едва шевелилось, как будто оно уснуло и ровно дышало во сне. В сумерках проступали звезды. Откуда-то веяло чем-то библейским. И в душе словно всё обнулялось, всё ненужное забывалось, оставалось только то, что нельзя забыть. А внизу на песок набегали волны, еле слышно что-то шептали. Волна сменялась волной, и то, что одна не успела, подхватывала другая... В их шёпоте доносилось, что всему есть начало и всему приходит конец. Должно быть, волнам казалось, что все вокруг это слышат. Но Нина Абрамовна не рассыпалась...

Только позже она обратила внимание, что Натанчик ведёт себя странно. То смущённо вздыхает, то отводит глаза. «Что-то он стал слишком хозяйственным», — удивлялась Нина Абрамовна. То «нужно за хлебом», то «подкупить овощей». А утром хватает бидончик и поспешно уходит на станцию за молоком.

Станцией называли конечную остановку трамвая, который из города шёл на Фонтан. Здесь же поблизости находилось всё, что нужно для дачной жизни: аптека, несколько лавок, промтоварный и продовольственный магазин. На углу стояла пельменная, а чуть дальше в сторону — дачный базарчик.

Поначалу Нина Абрамовна этим странностям не придавала значения, но очень трудно что-то не замечать, если ты всё замечаешь. И решила она однажды за ним проследить. Выжидала минут двадцать и отправилась следом. Дошла до пельменной, повернула к базарчику. Уже на подходе издали увидела очередь. И тут всё открылось. Дородная молодая молочница в белом переднике половинкой наполняла бидончики, а рядом крутился Натанчик. Заглядывал ей в глаза, пританцовывал,

увлечённо что-то рассказывал. Даже прихрамывал как-то по-молодецки. Нина Абрамовна застыла на месте и, совладав с собой, повернула назад. Натанчик вернулся как ни в чём не бывало. Даже виду не подал. Нина Абрамовна объясняться не стала. Только прожгла его взглядом и чеканя каждое слово, произнесла:

– Всё. Уходи. Мы с тобой давно уже квиты.

Натанчик вздохнул, словно заранее подготовился, и потупив глаза, виновато сказал:

– Ниночка, ты пойми... я же не просто так. Я ведь хочу жениться. А Маруся хорошая, добрая. У неё свой домик тут рядом, на Амундсена. Но мы же останемся...

– Нет! – отрезала Нина Абрамовна.

– А как же Милочка? Она же мне как родная дочка!

– Надоишь своих, – бросила Нина Абрамовна и, отвернувшись, поставила точку.

Больше она о нём ничего не хотела знать. Говорили, что он не раз слонялся у школы, высматривал Милочку. Михал Михалыч спокойно угас, словно к этому шёл ещё с того дня, как вернулся с фронта. Дачу продали из-за зятя. Приехал в Одессу, женился на Милочке и увёз. А что ей делать одной на даче? Позже, когда появилась внучка, вернулись, поселились в квартире на Пушкинской.

До полудня Нина Абрамовна держалась наподобие чайника, который только недавно поставили на огонь. Вода ещё не кипит, но время идёт. И в конце концов наступает момент, когда на поверхности появляются пузырьки. Так и в душе у Нины Абрамовны с течением времени начиналась неразбериха. Она не могла найти себе места, словно чего-то ждала, и не хотела в этом себе признаться. Она старалась не думать, отвлекала себя какими-то мелочами, но волнение нарастало, и она сама не могла понять: волнуется ли от того, что ждёт или боится, что ждёт напрасно?

Она твердила себе, что всё это глупости. Чего волноваться? Всё ведь заранее известно: сначала из школы примчится внучка, позже вернутся с работы дочка и зять. В кухне она обнаружила следы от коржей. Вот дочка втайне торт испекла, готовит сюрприз. Вечером все сойдутся, сядут за стол. Пожелают, поздравят, преподнесут... Чего же тут волноваться?

Так о чём-то задумавшись, Нина Абрамовна пропустила момент, не расслышала, как скрипнула дверь, не заметила, как влетела в комнату внучка с букетиком жёлтых тюльпанов.

– Ба, смотри, это тебе! Там внизу передали...

У Нины Абрамовны отлегло на душе. Она на мгновенье помолодела. Поискала глазами самую лучшую вазу и подумала: «Значит, ещё живой».

Поэзия и проза

Александр БИРШТЕЙН. Ржавый топор. *Миниатюра*

Скажу сразу: до пяти с половиной лет я был позором двора. На меня показывали пальцами и обзывают ржавым топором.

Светловолосый и конопатый, я терпеливо носил кличку «Рыжий» и не очень убивался по этому поводу. Клички должны быть у всех. Это же так естественно. Толик из подвала – Тюля, Эдька из подъезда – Жирный, Ленька со второго этажа – Головастик...

Не лучше и не хуже...

А тут – Ржавый топор! И непривычно, и обидно, и... заслуженно!

Дело в том, что я не умел плавать!

Этот трагический факт из моей биографии выяснился, когда я увязался за старшими ребятами на море.

Старшими ребятами... Да во дворе имелась или малышня трех-трех с половиной лет, или совсем большие ребята. Лет по десять им уже стукнуло. Довоенные...

Не помню уже, из-за чего они так раздобрались. Наверное, наобещал им что-то...

Для меня купание в море заключалось в том, что заходил в воду до пояса, приседал, окунался и начинал прыгать и плескаться. У-ух, здорово! А потом можно вволю строить крепости из мокрого песка...

Но мы в этот раз пошли не на песчаный пляж, а на скалки слева от причала. Кинув вещи на бетонные плиты, ребята попрыгали в воду. Я за ними. И... стал тонуть. Вода, бывшая сверху синей-синей, оказалась зеленоватой, набитой пузырьками воздуха и страшной. Она тянула вниз, а я сопротивлялся, бил руками, орал. Впрочем, орать у меня не очень получалась, ибо вода сразу заходила в рот, и ор превращался в кашель. Периодически удавалось выбиться на поверхность и глянуть на потрясенные лица ребят.

– Во, Рыжий, дает!

Сообразив, что я тону, они вытащили меня на берег, несчастного, заплаканного и сопливого. И, как следует, откупив, отправили домой. Я медленно поплелся июньским парком Шевченко, периодически залезая в кусты, чтоб пореветь.

А когда доплелся до двора, был уже не Шуркой, не Рыжим, а противным и тупым ржавым топором.

Таскать такое прозвище стыдно и обидно. Но приходилось, ибо родители никак не могли научить меня плавать. Они старались. Они по очереди клали меня в воде на протянутые руки и... я плыл, смешно загребая ладошками. Но стоило им убрать руки и... вода сразу становилась зеленой, пропитанной пузырьками, рвущегося из меня, воздуха.

– Ты трус? – брезгливо спрашивал папа.

– Вроде, нет... – отвечал я, подумав, – по крышам же бегаю...

– По каким крышам? – вскипал папа.

Ну, вот. Еще неприятности.

Короче, жизни не было нигде. Ни во дворе, ни дома. Я соорудил себе халабуду-закуток на лестничной площадке, забивался туда и читал книжки. Когда это надоедало, залезал на чердак искать клады. Однажды в щели между балками нашел старый, слегка поржавевший пистолет-наган, завернутый в тряпки. Это было больше, чем клад! С тех пор я поверил книжкам безоговорочно. А потом в какой-то из них вычитал, как щенков, чтобы научить плавать, бросают в воду...

Родители, как могли, пытались расшевелить меня. Но это удавалось не очень.

Однажды папу пригласили на рыбалку. А он попросил меня составить компанию. Конечно же, я согласился.

Мы вышли в море от пляжа «Дельфин» и кинули якорь в виду клиники Филатова.

– Тут самый лучший клев! – объяснил папин товарищ.

Насчет клева мне так и не пришлось выяснить, ибо самолов стал бородой после первого же заброса. Никто леску распутывать не стал.

– Сиди тихо, раз не умеешь обращаться со счастью! – велели мне.

И тут накатила такая тоска и безнадега. Плавать не умею, ловить рыбью, как выяснилось, тоже... Совсем никудышный человек. Такого, наверное, и не жалко. Потом я вспомнил про щенков, которых бросают в воду.

– Смотрите! – сказал взрослым и перевалился за борт.

Сперва я ушел под воду, но сразу же выскочил, забив руками, а потом... Вдруг рядом со мной очутился одетый папа.

– Почему он меня не спасает? – удивился я. А потом понял.

– Папа, я плыву, папа!

Странно, но после он мне даже не всыпал. Только странно как-то смотрел, смотрел, вдруг отворачивался и снова смотрел...

А во дворе я торжественно объявил всем, что плавать умею. Мне, ясное дело, не поверили. Тогда я предложил спор.

– Что ставишь? – спросил Колька-Чуча.

– Пистолет!

– Какой?

– Настоящий!

– Покажи!

– Скажи, сначала, что ты ставишь?

– Две блаи и маялку!

Я принес пистолет. Поспорили... Потом пошли на Ланжерон. И я выиграл!

Ребята потом долго рассматривали мой пистолет и дружно постановили, что он поломанный. Впрочем, за две блаи и маялку Чуча брался его починить. Больше я пистолет не увидел.

Зато ржавым топором меня звать перестали. А Рыжим? Рыжим зовут – при встрече – до сих пор, хотя я давно уже скорее Седой.

Евгений ГОЛУБЕНКО. Семиструнно разящий меч. *Стихи*

ПРОЩАЙ

Я тебя не возьму в свой последний полёт,
В седину, в одиночество, в стужу.
Кто любил, тот меня, безусловно, поймёт
И молчаньем поддержит к тому же.

Я тебя не возьму, по-английски уйдя.
Лишь сочувствие выкажут двери.
Мой задумчивый след смоют слёзы дождя
И к луне морды вытянут звери.

Я хотел бы тебе: «До свиданья», - сказать.
Но не будет, не будет возврата.
Мы старались любить и старались прощать,
От рассвета шагая к закату.

Я тебя не возьму в свой последний полёт...

* * *

B. Высоцкому

Певец подворотен ещё не умолк:
Он в нас, хоть верхам не угоден.
Хрипи, но заржавленный сердца замок
Вскрывай, медвежатник Володя.

Мы сыты по горло похлёбкой войны
Приправленной мнимой свободой.
До входа на плаху часы сочтены
Единству славянских народов.

Никто нас не слышал, Володя, как ты.
Никто нам не пел откровенней.
Но падали песни с такой высоты,
Что вдребезги струны и вены.

Вскрывай наше сердце, вскрывай нашу суть
И в судьбы врываися по встречной.
Хрипи медвежатник, прокладывай путь
Хоть Тымутараканский, хоть Млечный.

* * *

Милая, слышишь, снежинка парит
Ранним предвестником нового чуда.
В белой завесе горят снегири
Красными грудками, вспыхнув повсюду.
Тайною графикой птичьих следов
Будут расписаны стёжки-дорожки.
Милая, видишь, на лужах ледок
Скрыл наготу накрахмаленной крошкой.
Сказку предчувствием не торопи,
Вслушайся, вдумайся в каждую малость.
Ведь для того и горят снегири,
Чтобы любилось, хотелось, мечталось.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА

Мы чужие в чужой стране
И в своей мы с тобой изгои.
Вне толпы, вне устоев, вне...
Выживать - дорогого стоит.

По макушку вживаясь в речь,
Дорожим обретённым словом.
Семиструнно разящий меч
Для побед и для бед докован.

Шаленеет таёжный гнус,
По этапу ведя народы...
Кровь темна, кровь дурна на вкус,
Как война, как лихие годы.

Только мы из таких мужчин,
Что пред сворой, где гад на гаде,
Не обмочимся, не смолчим
Ради завтра и правды ради.

ЛИРИЧЕСКОЕ

За окнами октябрь, подыскивая ноты,
Грустинку желтизны в мелодию вплетёт.
И спелая листва, набредившись полётом,
Планирует к земле с насиженных высот.

С прохладой по ночам и тонкой долькой света,
Которую зовут то месяц, то луна,
Стареющий октябрь уходит вслед за летом
Туда, где в кумачах вчерашняя страна.

Судьбу не изменить, не стоит прекословить...
Слагателю стихов безумства не к лицу.
Прощаясь с октябрём, прощаюсь и с любовью,
Которая вот-вот и подойдёт к концу.

* * *

Боль лазейку нашла и пристроилась грустью во взгляде...
(но на эту наживку совсем перестали клевать).
Я ничейный теперь. Я былым подчистую раскраден.
Кроме нескольких строк, в общем даже и нечего взять.
И хоть я на мели, но такое порою сварганю,
Что, читая мой стих, ты заметишь, как слюнки текут.

Я за творческий дар столько выложил жизненной дани...
(но об этом молчок, потому что, опять упекут).

* * *

М. Ц

Гоняют наперегонки,
Задев гардины,
Обрывки строк и сквозняки,
Марина.
И длится их извечный спор,
О том, кто первый
Дотянется до наших пор
И нервов.
Чем заразиться, чем болеть
Решаем сами:
Стройкой, что не забудем впредь,
Иль сквозняками.

Константин ИЛЬНИЦКИЙ. Место приложения любви. *Стихи*

ГРАНАДА

Если не знали любви, в сердце Гранады не суйтесь.
Злое молчанье земли сторожит под оливами супесь.
Страсти зелёный побег обращается чёрной маслиной.
Едкая горечь измен присыпана красною глиной.

Если не знали любви, бедное сердце прогоркло.
Злое молчанье земли сторожит под оливами Лорка.
Как уберечь от судьбы? Даже поэты не в силах.
Горьки оливы твои. Эй, Федерико Гарсия.

Злое молчанье земли сторожу вот и я под гранатом.
Красные зёрна зари расщепляю за атомом атом.
Красные зёрна зари падают в вешние струи.
Кровоточенье земли пальцами я нарисую.

Если не знали любви, тихо заплачет гитара.
Звонкие воды струят под Аль Касабою Дарро.
Мерный гитарный прибой – горькое кардиосредство.
Это как к Богу домой,
это как мама и детство.

МЕСТО ПРИЛОЖЕНИЯ ЛЮБВИ

Это место приложения любви:
дом, семья, машины, гаражи,
офисы, заводы, чертежи,
замки, кафедралы, витражи,
море, лес и горы, виражи,
собственная иль чужая жизнь...
что угодно – только приложи!

ПЬЯНЫЙ ПЛАЧ НА ГАЛАТСКОМ МОСТУ*

Налить вина, налить. Виват Второму Риму.
Потом – пусть кровь и грязь под пурпуром знамён.
А Третьему не быть, и не восстановима
распавшаяся связь событий и времён.

Я слышу звон мечей у башни обгорелой,
где турки день за днём вели осаде счёт.
И рухну, прежде чем меня подхватят стрелы,
и греческим огнём Византий истечёт.

Молиться – не с руки, извека нет спасенья.
Не потому ль остра стамбульская печаль?
В Галате рыбаки – почти из безвременья.
Им греться у костра и потрошить кефаль.

Конечно, есть резон забыть о лихолетях.
Остаться без следа – приемлемо вполне.
Но связь былых времен, разъятая в столетьях,
хотя бы иногда срастается во мне.

*Мост через залив Золотой Рог в Стамбуле

ГЛЯДЯ НА АРАПАТ

Мне свобода безверия ближе,
чем грузила церковных вериг.
Но в структуре мышления вижу
и абсиды и алтари.

Это просто не очень заметно,
как в привычных конструкциях фраз
потаённая ветхозаветность
каждый раз формулирует нас.

Всё пространство житейской дороги

так же купольно, как небосвод.
Кто на выход – слабеют ноги,
а душа тренирует взлёт.

Тут бы церковку на вершине,
где пространство собрав в щепоть,
высотой, глубиной и ширью
осенил бы тебя Господь.

ПО ЗАКОНУ ЖАНРА

О том, что жизнь - трагедия
по всем формальным признакам,
не только в Википедии
написано и признано.

А значит, невезучие
селяне, горожане
себя и близких мучают –
всё по закону жанра.

Но как бы мы ни бредили,
не будет жизни вечной.
По мне, трагикомедия
куда как человечней.

Законов здесь немного:
уныние – ошибка,
для каждой безнадёги
отыщется улыбка.

Другие здесь настрои,
приоритеты в силе.
Пусть умерли герои,
но хорошо, что были.

ШРИФТ И ОПЕЧАТКИ

Жизнь так прекрасна. I love you.
И шрифт, и опечатки.
И я ловлю её, ловлю
остатками сетчатки.

На всех страницах растрబлю,
в любой формат оправлю.
И я люблю её, люблю,
хоть вёрстку не исправлю.

Всё было свёрстано давно.
И раб читает бегло,
хоть букв мышиное зерно
ещё не знало кегля.

Всё было свёрстано вперёд.
Я среди строчек вырос.
И попадал я в переплёт –
в пергамент и папирус.

Я вдали офсетного листа
заплыл, подобно Ною,
чтобы всё время наверстать,
прожитое не мною.

Я все мгновенья в точку сжал.
Арбат прорезал Трою.
Иоганн Кеплер хотстал
над чёрною дырою.

И здесь царил торговый люд,
валютные мистерии,
где буквы оптом продают
и на развес – империи.

Пусть будет так. Я в жизнь влюблён.
Иллюзий не питаю.
И безысходность всех времен
глотаю и глотаю.

ШЁПОТ АТЛАНТИКИ

Где брускатый Кашкайш изогнул свой фасад расписной,
шелестящая речь с каждым часом привычней и слаже.
Океан ли шлифует глаголы шипящей волной,
или, может, у здешних богов пришепётывал пращур.

Шевеление букв – сумасшедших поэтов удел.
У безмолвия вымолить слово – вот это величье.
Ресторан мои ноздри чесночной приправой согрел,
португальскою речью щекочет моё подъязычье.

Шевеление букв – словно гальку прибой раскачал.
Под босыми ногами всё шатко – пространство и опыт.
И мне кажется, Слово, что было в начале начал,
прозвучало впервые как шёпот. Атлантики шёпот.

ВОСХОЖДЕНИЕ

*«Обицких слов не говорите.
Мир спасён,
если любите. ЛюбИте.
Вот и всё»*
Алёша Ильницкий

Я понял давно, если жить суждено,
то в радость, пускай без причины.
А возраст реально понять свой дано,
когда наши годы – вершины.

Сначала вприпрыжку пологий подъём,
со временем круче, солидно,
и вдруг нараспах - голубой окоём.
О, как же отсюда всё видно.

Потоки людей, наследят и глядят.
И вроде хорошие лица.
Но ходят и носят свой маленький ад
и адом хотят поделиться.

Кто думал попроще – любя-не любя,
запутался, каётся слёзно.
Кто выбрал судьбой - убегать от себя,
был пойман, но только уж поздно.

Смешливая юность и род нелюдской,
где явная гниль, где повидло,
чиновные рожи с тоской воровской.
О, как же отсюда всё видно.

На новой вершине озnob тишины
и осень - небесная просинь.
А я не могу убежать от войны,
мы войны в сердцах наших носим.

А если на жизнь поглядеть виз-а-ви,
сказать, хорошо, мол, терпимо.
Терпимость быть может началом любви.
Любовь не прошла у вас мимо?

Вот снежная туча легла сединой,
и я поднимаюсь над нею.
Уже сотня стран у меня за спиной,
и мне всё видней и виднее.

Мозаика мира, смешались черты -

Карибы, Италия, Греция.
В кругу беспощадной его красоты
гляжу, не могу наглядеться.

Теряются жизни, и боль так свежа,
душа консервирует горе.
Ушедших досрочно особенно жаль,
отставших еще до предгорья.

Не найден бессмертия эликсир,
в замену - свободы паренье.
И как же прекрасен бывает наш мир,
когда он любви продолженье.

Пусть ноги не гнутся, и ветер свиреп,
и плакать от боли не стыдно,
пускай, я от снежной болезни ослеп,
но как хорошо же всё видно.

Эй, там, наверху, где сияющий Лик?
Ползу к небесам всё поближе.
Когда заберусь на последний свой пик,
не верю, но, может, увижу.

АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ

Когда умрёт последний мой знакомый,
наполненный сознанием беды,
я выскочу отчаянно из дома,
чтобы знакомств пополнились ряды.

Но город пуст, как будто в целом мире
исчезли все. Кому кричать: «Come back*»?
Когда-то выскочит вот так же из квартиры
последний на планете человек.

* Come back – вернись (англ.)

Светлана КУДРЯВЦЕВА. Разбудишь к ночи взгляд... Стихи

К ИМПРЕССИОНИСТАМ

разбудишь к ночи взгляд
и он из-за кулис
явит святейшую подробность

изящный локоток
перчатки кружево – обмана совершенство
и луч
нечаянно дотронувшись до плеч
застынет `надолго

так чисто вожделение
любви
владения
отрады
созерцаний

и – тишины
что – там
тогда

из здешнего небытия
шагнешь –
покажется волшебным светом

СНЕГА НЕТ ЦВЕТЕТ ПОДСНЕЖНИК

снега нет – январь однако...
говорят подснежник вышел
на лужайку?

на полянку?
под окошко у бабули?--
у заброшенного стога
под шатер из веток ели

нежным запахом растения
в первозданном ожерелье
колокольчик первоцветом
тронет память до смятения

и аукнется снежинкой
первой чистою дождинкой
детством радостным несмелым
шагом первым неумелым

подбегу по влажной-мягкой
по дорожке в руки к деду
посудит мне к урожаю
первый персик самый спелый

ах как радостны объятья
ах как пахнет дед весною
ах как кажется надёжной
крепкая рука в мозолях

да – недолго...
да – неечно...

ветром дышит колокольчик

НАДВЕЧЕРНЕЕ

Время – к восьми
избирает вечерний озnob
поток
 занудства оброк

из строк
теплый халат
древний бабин платок
тишину и молчание
из повести "после всего"
разве когда-нибудь думалось так
разве когда-нибудь грезилось что
жизнь превратится в ничтожный пустяк
а ты
притворишься невидимым
мне осталось пространство прохладных комнат
приют от начала дней – молодеющий парк
и – море
под замками теперь
манит кого-то мороком
ты снись пожалуйста
тогда ты – есть
здесь
ну просто пошел по делам
нет
улетел
ненадолго
в Африку
как
когда-то

БЫВАЕТ

а потом началась духота...

не пора ли признать
что кровать
убирать
по утрам
четко стрелку на сгибе выравнивая
зубы чистить до а не после еды
пить побольше воды

и шагать
и гулять
и...быть может летать
– до одури

ритуалы – под вечер
пером – до утра
водишь
возишь
а вдруг не вывезешь?...

и-покой-тишина
и планете – пора
и самой
не пора ли
на выселки

МЫ

сердечные ритмы
подвластны грозам
природным
ментальным
уличным
лунным приливам
океанским глубинам
небесам
облакам
росам
эмоций качели
память будят
летим
уговариваем
печалимся
дух замирает
душа восхищает
прошло

проживаем
будет
а по травинке
шагает былина
проводная
древняя
мокрая
ей бы помочь бы
её бы укрыть бы
– это – ты?
– это – я
= это – МЫ

КАК ВНИЗУ, ТАК И ВВЕРХУ

яйцо проклевывается изнутри
как осознание – сквозь ауру – к иному миру
новорожденный идет за своей маткой
клевать зерно
вслепую
он учится выживать в новом мире
напрочь забывая
свой яичный опыт

как тяжко расставаться
с этой глыбой "знания"
в переходе

СУБЛИМА

застывающая духота
неподвижность в периоде
только фонарь кружит вокруг комара
до утра
скучно родимому

человеки замерли
душные квартирки-контейнеры
жуют
каждый свою персональную жвачку
дышат натужно
грудью
а ведь надобно – животом
и – осознанно

Пространство застрявшее в Муравье...
объевшись манки с барского хозяйственного плеча
едва волочит свои мощные ниточки-лапки
– не попадайся на щедрости Высшей Силы
отравит
не моргнёт
еще качнёт головой вдогонку:
"вместИ!"
всё – по твоему Желанию"

запах персика скипидаром
из беременного сада соседа
скручивает слюнные железы в жгут

и это созреет

снова слушать

окоём

или – себя

в предельной своей неподвижности

МЫ ЕСТЬ

ты ворон снова не молчишь
кричишь с утра и на закате
весь день

vezёшь свой воз исправно
благодарение тебе

о чём теперь глагол?

то – знак?
чтоб – помнили?
привет оттуда?

ОНИ

все вместе там
крупицами накапливают силу
чтобы явиться нам

пришли

отец привел свой род
(впервые, папа – почему?)

до горизонта лица

поклон земной родные

спокойно смотрят и молчат

а мне теперь понятно
чи непрожитые желанья проживаю
чью радость радую
кому плачу долги

обиды
отречения
всё здесь в повторе

баюшки-баю

простим друг-друга

мы есмь любовь и свет истина

мы есмь

увидимся

НАКАНУНЕ

солнцем

лесом

цветущей поляною...

на крутом берегу белокаменная

в три колонны

ротонда (снится)

у подножия – океан

туманом окутан купол

покрывалом прозрачным – грани

тишиной спрессованной тugo

утрамбован объем нутра

разливается светом нездешним

без теней

тепло и сияние

и теплом и сиянием светятся

незабытые лица друзей

уберечь бы это видение

рассмотреть бы цветы и краски

разгадать океана шорох

запомнить бесед череду

и

остаться

пока

остаться

чем продлится?

пускай приснится

в долгожданном другом году

ЧИСТКА

прорвались Небеса...

по застарелым лужам
(прогнили до ядра Земли
не просыхают даже в полдень Лета)
иду
как в детских сапогах из папиных обносков
— по колена

там дна не чуть
и отраженье неба тонет
там муть из залежей прокисших непобед
обид
и страхов слухов
вывертов казавшихся Вратами
суждений-осуждений
забот
бесплодных
и тэдэ

ну вышла

высушила обувь

слушаю нутро

отмыла?

в – Л У Ж Е ?

покажите Люди

где

МОЖНО

начисто

отмыться

человеку?

P.S.

про душ в пятиэтажке

про Океан с Поющими Песками

про жерло остывающей печи —

не надо

пройдено —

забава

Анна МИХАЛЕВСКАЯ. Прелюдия до... *Миниатюра*

Простые смертные в компании людей с музыкальным образованием.

Просят с робкой надеждой:

– А, может, споете!

– Нет, – моментальный ответ, – я не готовилась.

– Я все забыл, – лицо полнится душевными метаниями.

– Ну тогда, что помните, – осторожно предлагают простые смертные.

Музыканты в один голос:

– Ничего не помним!

Вздох. Тост. Звон бокалов. Звяканье вилок по тарелкам.

Та, кто не готовилась, тихо выходит из комнаты. Возвращается, пряча что-то за спину.

Все делают вид, что ничего не замечают. Тот, кто забыл, настороженно поглядывает в ее сторону. По всему видно – не одобряет. Но поздно – простые смертные, которые ничего не замечают, уже передают ему гитару.

Задержка дыхания. Кот замирает на столе с куском курицы в зубах.

Одна другой, раскрывая ноты:

– А что я должна петь?

Договариваются, что. Поют разное.

Он, уставившись далеко за горизонт двора за окном, начинает подыгрывать.

Те, кто поют, посередине фразы сообщают ему:

– Не играй, ты сбиваешь с гармонии!

Он обиженno замолкает.

Те же друг другу:

– Ты второй голос или первый?

Договариваются, какой. Все поют второй. Тот, кто «не играй, ты сбиваешь», переглядывается с котом и начинает робко играть за первый голос. Кот роняет курицу. Из мужской солидарности.

Простые смертные следят за аллегро музыкальными договоренностями, страстно желая определенности. И даже заявляя об этом вслух.

– Сейчас как спою вам мессу! – говорит та, кто не готовилась, пролистывая пятьдесят семь страниц нот.

Торжественное «Gloria in excelsis deo» плывет по комнате. Кот проникается и просится на улицу. И плевать уже на курицу.

– Давайте вырвемся отсюда! – перешептываются простые смертные.
Но выпускают только кота.

Люди и ноты наконец находят места, все идет своим ходом. Поют понятное. И можно даже хором. Кот участвует с безопасного расстояния...

Но это уже, конечно, совсем не так интересно.
И вспоминается потом отнюдь не слаженный хор. А та самая прелюдия. Которая до.

Татьяна ПАРТИНА. Подходящий момент. *Миниатюра*

Наташа три дня готовилась к юбилею мужа. Привоз, магазины, плита – обычный сценарий. Всё шло хорошо, а вот сервировка стола не задалась сразу. Сначала бутерброд упал, как водится, чёрной икрой вниз. Да не один, а целый поднос. Затем, после минутной отлучки из кухни, Наташа обнаружила, что запечённый судак осквернён котом Васькой. Кот оседлал рыбину в районе хвоста и, обхватив её бока лапами, с урчанием объедал середину. Голова судака, которую Наташа еще минуту назад заботливо украшала клюковой и петрушкой, страдальчески оскалилась.

– Кыш, ирод, – завопила хозяйка.

Кот удрал, оставив на полу следы жирных лапок. Рыба, главное блюдо и военный трофей мужа-рыбака, была бесповоротно загублена.

Мама всегда учила Наташу, что от мужа скрывать ничего нельзя, надо рассказывать ему всё-всё, только в подходящий момент. Наташа задумалась: стоит ли портить ему настроение перед приходом гостей? «Нет, момент не подходящий», – решила она.

– А вы знаете, какого я судака вчера поймал? – в разгар застолья завёл любимую пластинку хозяин. – Не судак, – телёнок. Наташка, тащи сюда рыбу!

– Кот сожрал твою рыбу, – чуть было не выпалила Наташа. Но вовремя спохватилась. Момент был совсем уж не подходящий.

– Подожди, холодец ещё не ели. А судак пусть немного потомится.

– Ну ладно, – нехотя согласился муж, – если так надо...

Вскоре он опять вернулся к рыбной теме.

– Так вы же красное вино открыли, я пока биточки принесла, – дипломатично увернулась Наташа.

– Где же мой телёнок? – к концу вечера опять встрепенулся хозяин, несколько сбитый с толку вином и другими горячительными напитками.

– Так ведь мы шампанское уже пьём. С тортом, – парировала жена.

Когда последний гость ушёл, Наташа решилась было высказать слова, которые вертелись у нее на языке полвечера. Мол, кот – тоже человек, должен быть и у него праздник, а им и так было что кушать.

– Чёрт тебя подери, зараза серая, – вскричал муж, обнаружив, что в его любимом кресле спит Васька.

Наташа испугалась, что, если она выдаст сейчас кота, муж его вообще прибьет. Нет, время ещё не настало.

Расстроенная, она пошла в кабинет-библиотеку. Мама учила ее, что книга – кладезь мудрости и, если своего ума не хватает, надо черпать его в них. Надо было подобрать какие-то веские слова в защиту Васьки. Поколебавшись немного между «Искусством врачевания психики» Фрейда и книгой о кошках, она взялась за энциклопедию кошек.

«В древнем Египте, – прочитала она, – кошки почитались, как священные животные. Горе было тому, кто позволял поднять руку на кошку». Начало было многообещающим. Наташа с удовольствием проштудировала также разделы, касающиеся питания и воспитания Васькиных соплеменников. «Кошки – хищники и питаются животной пищей», – мысленно полемизировала она с мужем. Затем Наташа встала перед зеркалом и отрепетировала свою адвокатскую речь. Сорокаминутный монолог прервал грохот неудачно спустившегося с лестницы тела и вопль мужа: «Жена, вызывай эскулапов!»

Наташа выглянула из кабинета. Муж лежал под лестницей, неестественно подогнув под себя ногу. На лбу медленно, но уверенно выступала большая шишка.

– Теперь можно, – подумала Наташа.

Алена ЯВОРСКАЯ. Случай в трамвае. *Миниатюра*

Эта история случилась давно, почти полжизни назад. Тогда только началась перестройка, шла первая осень нового мышления. Мысление и сознание менялись не так чтобы быстро, а бытие или быт – и того медленнее. К началу первой осени представление о моде, вернее, о том, как принято прилично одеваться людям разных возрастных категорий особых изменений в массовом сознании не претерпело.

Был теплый день начала октября. Украшали город девушки своим загаром, прохожие своими улыбками. Еще зеленели листья деревьев, пыль, хотя и не пахла акацией (как во времена юности Александра Дерибаса), но сверкала золотом в лучах полуденного солнца. В такое время даже ожидание трамвая не вызывает особого раздражения. Трамвай № 18 прозвенел, заходя на круг, потенциальные пассажиры начали выискивать наиболее удобные для посадки места.

Даже штурм дверей был расслабленным, несколько неудачников – среди них и я со своим спутником – остались стоять. Вялая перебранка двух юношей – и наступила блаженная тишина. На первых местах – тех, что для инвалидов и пассажиров с детьми среди сидящих счастливцев был человек, что называется, при полном параде: в темном костюме, белой рубашке и галстуке. По молодости он мне казался человеком пожилым, хоть было ему лет шестьдесят.

В последнюю минуту в трамвай вошли дед и внук с удочками в руках. Деду было под семьдесят, внучку – лет восемь. Одежда деда была для Одессы того времени, мягко выражаясь, экзотической, а по-научному – эпатажной.

Притягивали взгляд худые загорелые ноги в … шортах. В те годы шорты носили представители стран капиталистических, в лучшем случае – венгры или поляки. Верх был не менее экзотическим – безрукавка из сетки. Дедушка явно был «моржом», потому что тепло-то было, но не до такой же степени. Трамвай дернулся и пустился в путь по Фонтану. Пассажиры, удивленные смелостью дедушки, ни явного отвращения, ни восторга не оказали. Ну, оделся себе так человек на рыбалку – и на здоровье.

Однако тишина вскоре взорвалась. В районе второй станции взгляд человека в костюме (в дальнейшем именуемого «одетый») упал на

человека в шортах (в дальнейшем именуемого «раздетый»). В записных книжках И.Ильфа есть фраза: «Вид голого тела, покрытого волосами, вызывает отвращение». Вряд ли одетый читал «Записные книжки», но реакция у него была «по Ильфу».

— Что это вы себе позволяете?! — хорошо поставленным начальственным голосом возгласил он на весь вагон.

Публика заозиралась в поисках нарушителя.

— Я вам говорю! А еще пожилой человек! Детей бы постыдились! Какой пример молодым вы показываете!!!

— Что случилось? Вам не нравиться — не смотрите, — отозвался раздетый, полуобернувшись к критику.

Дальнейшая беседа протекала исключительно на «Вы» и совершенно по сценарию. Фразы типа «наше поколение войну выиграло, а ваше все разрушило» в том или ином контексте звучали станции до четвертой. Одетый нервничал и горячился, раздетый парировал со спокойной уверенностью одесских рыбаков. Трамвай трясся и порой резко тормозил. Пассажиры со слабым интересом прислушивались к перебранке.

После одного особенного резкого рывка одетого осенил неопровергимый довод:

— Как Вы можете! В ваши годы! Ваш вид — настоящий разврат!

Раздетый хладнокровно ответил, обращаясь к публике и как бы игнорируя оппонента:

— Ха! Можно подумать, что он знает, что такое настоящий разврат!

Очевидно, одетому по должности знать это полагалось, потому что он, оскорбленный в лучших чувствах, яростно воскликнул:

— Как! Это я-то не знаю, что такое разврат!

Трамвай вновь качнуло, но уже от хохота пассажиров. Люди захлебывались и плакали от смеха. От солидного, по-чиновничьи уверенного в себе человека такое не каждый день услышишь.

Одетый побагровел, и на пятой станции вылетел из вагона. Раздетый буркнул ему вслед: «Это я-то не знаю, что такое разврат...»

История эта пользовалась неизменным успехом в студенческие годы, на работе, в командировках, в компаниях. Фраза «Это я-то не знаю, что такое разврат...» была паролем. И авторские права на него я не заявляла — думаю, что рассказывали ее все пассажиры того вагона.

Но вот приснился мне сон, что рассказываю я все это Михаилу Михайловичу Жванецкому у нас в садике скульптур, прямо у памятника ему же. Просыпаюсь и думаю: «Нет, все! Пора изложить в письменном виде, а то кто же мне потом поверит, что все это я своими глазами видела и слышала?».

Из прошлого Одессы

Галина СЕМЫКИНА. «Зима суровая, какой не припомнят и старожилы здешние...». Эссе

Одесские зимы капризны и непредсказуемы. Едва обрадуешься первому снегу, как он превращается в грязь и слякоть. Бесполезные коньки валяются на антресолях, а о лыжах одесситы и вовсе «без понятия». Но старожилы рассказывают, что порой зимы оправдывали свое название и удивляли жителей теплого юга. И этому есть множество свидетелей, как в далеком прошлом, так и в настоящем – в ностальгических воспоминаниях седовласых очевидцев. Впрочем, обратимся к старинным документам – мемуарам, перепискам, стихам.

Итак, одесские зимы. Как правило, они бывали мягкими, типично южными.

«...Одесская природа редко облекается снежным покровом. Часто в декабре и январе месяцах степь, окружающая наш город, блестит оазисами влажной зелени, а волны Эвксина в полной свободе шумят вокруг кораблей, приносящих северным берегам Черного моря произведения южной природы», – отмечал журналист и писатель П. Т. Морозов.

Но в мемуарах и переписках чаще всего встречаются описания суровых одесских зим. И этому можно дать объяснение: такие зимы производили ошеломляющее впечатление на одесситов и приезжих и поэтому легко запоминались.

«Одесский вестник» сообщал о зиме 1827/1828 гг.:

«Зима суровая, какой не припомнят и старожилы здешние; улицы, покрытые снегом, окна, посеребренные морозом, гавань и весь берег моря, запертые льдом, наконец, долговременное положение Одессы в этом виде...»

Мемуарист Ф.Ф. Вигель, бывший в это время в Одессе, писал в своих «Записках»:

«Выпал большой снег 19 ноября, а на другой день, 20-го <...> к молебну и оттуда к Палену на завтрак отправились все мы в санях, и потом с ними не расставались. <...> Почти везде было плохое устройство печей, и я начинал очень зябнуть в своих больших комнатах

отеля Сикара, несмотря на усиленное топление. <...> Трактирный служащий вывел меня из беды. Он предложил мне перейти в три небольшие комнаты на дворе над самой кухней, пока они еще не заняты; смирение мое было вознаграждено: в них редко бывало менее 17 градусов теплоты, и я скоро мог обогреться. Вид из них на море был не весьма приятен: в продолжение декабря весь залив покрылся льдом, и там, куда глаз едва мог достигать, лёгкий пар показывал, что вода еще не замерзла».

Поэт Н. И. Гнедич, надеявшийся поправить в теплой Одессе здоровье, столь необходимое для завершения многолетнего труда над переводом гомеровской «Илиады», тоже был крайне недоволен капризами природы. Он огорченно писал 17 января 1828 г. из Одессы своему другу поэту И. И. Козлову:

«...Да, мой друг! Звезда моя со мною и привела меня из огня в полымя. Осень была ужасная, теперь терпим зиму, которая была бы впору и Петербургу, но совсем не впору Одессе... Я часто встаю при 8 градусах тепла в комнате, не смотря, что калю печи Крымским дубом, которого сажень здесь теперь обходится от 75 до 90 рублей.

Жизнь несносная, нет ни выхода, ни выезда из дома: осенью от грязи по колено, теперь от снегу по пояс; здесь не только улиц, и дворов не чистят. У меня ворота целую неделю были завалены горою снега; по целой неделе я иногда не могу пробраться к Шемиотам, где всего чаще и приятнее провожу время, между тем как живу от них в ста шагах. По этим причинам, также и по болезни, не был еще у графини Эдлинг, хотя и познакомился с нею.

...Если одесская весна и лето будут ко мне так же немилосердны, придется, мой милый, возвратиться на Север с прежним, расстроенным здоровьем».

В подобные, впрочем, редкие зимы передвижение по улицам было затруднено, О. О. Чижевич в записках «Город Одесса и одесское общество (1837–1877)» вспоминал:

«...Молдаванка (после осенней грязи – Г.С.) иногда прекращала сообщение с городом по целым неделям. Оно возобновлялось после сильных морозов, когда грязь замерзала.

Глубоко завязшие в грязи телеги и экипажи, захваченные морозом, иногда оставались на улицах в продолжение всей зимы, и только весною, при совершенной оттепели, могли быть извлечены. Припоминаю, как однажды генерал Безак, квартировавший на Дворянской улице, желая дать бал, вынужден был вызвать целую роту солдат для засыпки ухабов».

После морозов следовали оттепели с гололедицей. Насколько опасны были зимние дороги для одесситов? Но вот вполне официальное (правда, с толикой юмора) свидетельство о влиянии зимнего сезона на состояние здоровья одесситов. Профессор медицины А. Рафалович с удивлением отмечал:

«...Еще труднее объяснить редкость переломов костей в Одессе, где столько построек, <...> столько скачущих извозчиков, где так часто зимою после оттепелей тротуары покрываются гладким, как стекло, льдом. Видно, уж таков <одесский> человек, что пойдет ли он, отведав подчас лишний глоток хмельного, считать носом камни на мостовой, с крыши ли слетит, с телеги ли свалится, лошади ли понесут его, подумаешь: рассыплется вдребезги, а он, как ни в чем не бывало – и не ушибется».

Да и замерзшее море порой не останавливало одесситов. О. О. Чижевич с восхищением вспоминал о своем лицейском учителе латинского языка, большом оригиналe г. Кнорре:

«Необыкновенный ходок и конькобежец, он иногда по утрам совершал прогулку на Большой Фонтан и обратно пешком. Однажды, когда море далеко замерзло, он на коньках сбегал в Николаев к брату, астроному».

Впрочем, шутить с морской стихией, даже если она скована льдом, неразумно. И это опасливое чувство передано в стихотворении поэта П. Искры «Хаджибейский залив зимою»:

*«Ослепляет мой взгляд
Белоснежный наряд
И покров золотистый залива...
Под холодной корой,
Как мертвец под парчой,*

*Глубь морская тиха, молчалива.
Но боюсь тишины я морской глубины
И не верю я моря покою:
Тихо дремлет волна,
Но проснется она
И под этой корой ледяною.
Чуть повеет слегка теплый вздох ветерка
С отдаленного жаркого Юга, –
И очнется волна,
Как царевна от сна,
На призыв нежный старого друга.
Новой жизни порыв
Весь взволнует залив,
И оковы падут ледяные:
Им ли, слабым, сдержать
Волн могучую рать,
Что пошлют на них глуби морские?
Как сорвавшийся зверь,
Море дико теперь,
И покрыто все пеной седою;
Бездна грозно кипит
И ревет, и шипит...
Нет, не верю я моря покою!»*

Но стоит ли любоваться замершим морем, когда можно пойти к друзьям и уютно провести время в дружеском салоне у теплого камина. И об этом повествует стихотворение А. Войкова «Зимний вечер» (1823 г.), посвященное хозяйке одесского литературного салона В. Д. Казначеевой:

*«...Смотрите, у огня приятельская связь,
Столь милая сердцам, опять возобновилась.
Так! Страсть жить обществом зимой в душе родилась.
Все разместилися: влюбленные вздыхать,
Старик рассказывать, дитя ему внимать;
Местечко и романс старинный здесь находит
И острое словцо весь круг гостей обходит...
<...>
Где слаще и живей веселый спор ведем?*

*Здесь, повествуя жизнь, мы съзнова живем.
Один о тяжбе речь, другой о битве повесть,
А третий о любви; четвертый, спрятав совесть,
Как я, чтоб наказать друзей за их грехи,
Новорожденные читает им стихи.*

*Зимою при огне, как бы на сборном месте,
Все Дарования и все Искусства вместе:
И творческая кисть, и карандаш живой,
И лютня стройная с затейливой иглой!..»*

И в заключение можно с уверенностью утверждать, что ни одна случайная суровая зима не мешала одесситам весело отмечать Рождество, Новый Год, устраивать многолюдные балы, маскарады, посещать дружеские салоны. Об этом тоже сохранилось немало свидетельств – в воспоминаниях В. И. Туманского, П. Т. Морозова, Ф. Ф. Вигеля и др.

Но это уже сюжет для другого рассказа.

